Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

ДЛЯ ДЕТЕЙ

[illegible]ГИЗ · СВЕРДЛГИЗ · 194[illegible]

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

Для детей

ОГИЗ
СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1947

Медведко

— Хотите вы взять медвежонка? — предлагал мне мой кучер Андрей.

— А где он?

— Да у соседей. Им знакомые охотники подарили. Славный такой медвежонок, всего недель трех. Забавный зверь, одним словом.

— Зачем же соседи отдают, если он славный?

— Кто их знает. Я видел медвежонка: не больше рукавицы. И так смешно переваливает.

Я жил на Урале в уездном городе. Квартира была большая. Отчего же и не взять медвежонка? В самом деле забавный. Пусть поживет, а там увидим, что с ним делать.

Сказано — сделано. Андрей отправился к соседям и через полчаса принес крошечного медвежонка, который, действительно, был не больше его рукавицы, с той разницей, что эта живая рукавица так забавно ходила на своих четырех ногах и еще забавнее таращила такие милые синие глазенки.

За медвежонком пришла целая толпа уличных ребятишек, так что пришлось затворить ворота. Попав в комнаты, медвежонок нимало не смутился, а напротив, почувствовал себя очень свободно, точно пришел домой. Он спокойно все осмотрел, обошел вокруг стен, все обнюхал, кое-что попробовал своей черной лапкой и, кажется, нашел, что все в порядке.

Мои ученики натащили ему молока, булок, сухарей. Медвежонок все принимал, как должное, и, усевшись в уголке на задние лапы, приготовился закусить. Он делал все с необыкновенной комичной важностью.

— Медведко, хочешь молока?

— Медведко, вот сухарики.

— Медведко!

Пока происходила вся эта суетня, в комнату незаметно вошла моя охотничья собака, старый рыжий сеттер. Собака сразу почувствовала присутствие какого-то неизвестного зверя, вытянулась, ощетинилась, и не успели мы оглянуться, как она уже сделала стойку над маленьким гостем. Нужно было видеть эту картину: медвежонок забился в уголок, присел на задние лапки и смотрел на медленно подходившую собаку такими злыми глазенками.

Собака была старая, опытная, и поэтому она не бросилась сразу, а долго смотрела с удивлением своими большими глазами на непрошенного гостя, — эти комнаты она считала своими, а тут вдруг забрался неизвестный зверь, засел в уголок и смотрел на нее, как ни в чем не бывало.

Я видел, как сеттер начал дрожать от волнения и приготовился схватить его. Если бы он бросился на малютку-медвежонка! Но вышло совсем другое, чего никто не ожидал. Собака смотрела на меня, точно спрашивала согласия, и подвигалась вперед медленными, рассчитанными шагами. До медвежонка оставалось всего каких-нибудь пол-аршина; но собака не решалась сделать последнего шага, а только еще сильнее вытянулась и сильно потянула в себя воздух: она желала, по собачьей привычке, сначала обнюхать неизвестного врага.

Но именно в этот критический момент маленький гость размахнулся и мгновенно ударил собаку правой лапой прямо по морде. Вероятно, удар был очень силен, потому что собака отскочила и завизжала.

— Вот так молодец Медведко! — одобрили ребята. — Такой маленький и ничего не боится.

Собака была сконфужена и незаметно скрылась в кухню.

Медвежонок преспокойно съел молоко и булку, а потом забрался ко мне на колени, свернулся клубочком и замурлыкал, как котенок.

— Ах, какой он милый! — повторяли мои ученики в один голос. — Мы его оставим у нас жить. Он такой миленький и ничего не может сделать.

— Что ж, пусть его живет, — согласился я, любуясь притихшим зверьком.

Да и как было не любоваться! Он так мило мурлыкал, так доверчиво лизал своим черным языком мои руки и кончил тем, что заснул у меня на руках, как маленький ребенок.

Медвежонок поселился у меня и в течение целого дня забавлял публику — как больших, так и маленьких. Он так забавно кувыркался, все желал видеть и везде лез. Особенно его занимали двери. Подковыляет, запустит лапу и начинает отворять. Если дверь не отворялась, он начинал забавно сердиться, ворчал и принимался грызть дерево своими острыми, как белые гвоздики, зубами.

Меня поражала необыкновенная подвижность этого маленького увальня и его сила. В течение этого дня он обошел решительно весь дом, и кажется не оставалось такой вещи, которой он не осмотрел бы, не понюхал и не полизал.

Наступила ночь. Я оставил медвежонка у себя в комнате. Он свернулся клубочком на ковре и сейчас же заснул.

Убедившись, что он успокоился, я загасил лампу и тоже приготовился спать. Не прошло четверти часа, как я стал засыпать, но в самый интересный момент мой сон был нарушен: медвежонок пристроился к двери в столовую и упорно хотел ее отворить. Я оттащил его раз и уложил на старое место. Не прошло получаса, как повторилась та же история. Пришлось вставать и укладывать упрямого зверя во второй раз. Через полчаса — то же...

Наконец, мне это надоело, да и спать хотелось. Я отворил дверь кабинета и пустил медвежонка в столовую. Все наружные двери и окна были заперты, следовательно, беспокоиться было нечего.

Но мне и в этот раз не привелось уснуть. Медвежонок забрался в буфет и загремел тарелками. Пришлось вставать и вытаскивать его из буфета, при чем он ужасно рассердился, заворчал, начал вертеть головой и пытался укусить меня за руку. Я взял его за шиворот и отнес в гостиную. Эта возня начала мне надоедать, да и вставать на другой день нужно было рано. Впрочем, я скоро уснул, позабыв о маленьком госте.

Прошел, может быть, какой-нибудь час, как страшный шум в гостиной заставил меня вскочить. В первую минуту я не мог сообразить, что такое случилось, и только потом все сделалось ясно: медвежонок разодрался с собакой, которая спала на своем обычном месте в передней.

— Ну, и зверина! — удивлялся кучер Андрей, разнимая воевавших.

— Куда мы его теперь денем? — думал я вслух. — Он никому не даст спать целую ночь.

— А к мальчикам, — посоветовал Андрей. — Они его весьма даже уважают. Ну, и пусть спит у них.

Медвежонок был помещен в комнате учеников, которые были очень рады маленькому квартиранту.

Было уже два часа ночи, когда весь дом успокоился.

Я был очень рад, что избавился от беспокойного гостя и мог заснуть. Но не прошло часа, как все повскакали от страшного шума в комнате учеников. Там происходило что-то невероятное... Когда я прибежал в эту комнату и зажег спичку, все объяснилось.

Посредине комнаты стоял маленький письменный стол, покрытый клеенкой. Медвежонок по ножке стола добрался до клеенки, ухватил ее зубами, уперся лапами в ножку и принялся тащить что было мочи. Тащил, тащил, пока не стащил всю клеенку, вместе с ней — лампу, две чернильницы, графин с водой и вообще все, что было разложено на столе. В результате — разбитая лампа, разбитый графин, разлитые по полу чернила, а виновник всего скандала забрался в самый дальний угол, откуда сверкали одни глаза, как два уголька.

Его пробовали взять, но он отчаянно защищался и даже успел укусить одного мальчика.

— Что мы будем делать с этим разбойником? — взмолился я. — Это все ты, Андрей, виноват.

— Что же я сделал? — оправдывался кучер. — Я только сказал про медвежонка, а взяли-то вы. И ученики даже весьма его одобряли.

Словом, медвежонок не дал спать всю ночь.

Следующий день принес новые испытания. Дело было летнее, двери оставались не запертыми, и он незаметно прокрался во двор, где ужасно напугал корову. Кончилось тем, что медвежонок поймал цыпленка и задавил его. Поднялся целый бунт. Особенно негодовала кухарка, жалевшая цыпленка. Она накинулась на кучера, и дело дошло чуть не до драки. На следующую ночь, во избежание недоразумений, беспокойный гость был заперт в чулан, где ничего не было, кроме ларя с мукой. Каково же было негодование кухарки, когда на следующее утро она нашла медвежонка в ларе: он отворил тяжелую крышку и спал самым мирным образом прямо в муке. Огорченная кухарка даже расплакалась и стала требовать расчета.

— Житья нет от поганого зверя, — объясняла она. — Теперь к корове подойти нельзя, цыплят надо запирать... муку бросить... Нет, пожалуйте расчет.

Признаться сказать, я очень раскаивался, что взял медвежонка, и очень был рад, когда нашелся знакомый, который взял его.

— Помилуйте, какой милый зверь! — восхищался он. — Дети будут рады. Для них это настоящий праздник. Право, какой милый.

— Да, милый... — согласился я.

Мы все вздохнули свободно, когда наконец, избавились от этого милого зверя и когда весь дом пришел в прежний порядок.

Но наше счастье продолжалось недолго, потому что мой знакомый возвратил медвежонка на другой день. Милый зверь накуралесил на новом месте еще больше, чем у меня. Забрался в экипаж, заложенный молодой лошадью, зарычал. Лошадь, конечно, бросилась стремглав и сломала экипаж. Мы попробовали вернуть медвежонка на первое место, откуда его принес мой кучер, но там отказались принять его наотрез.

— Что же мы с ним будем делать? — взмолился я, обращаясь к кучеру. — Я готов заплатить, только бы избавиться.

На наше счастье, нашелся какой-то охотник, который взял его с удовольствием. О дальнейшей судьбе Медведка знаю только то, что он околел месяца через два.

Емеля-охотник

I

Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной глуши, спряталась деревушка Тычки. В ней всего одиннадцать дворов, собственно десять, потому что одиннадцатая избушка стоит совсем отдельно, у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной поднимается вечно зеленый хвойный лес. Из-за верхушек елей и пихт можно разглядеть несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех сторон громадными синевато-серыми валами. Ближе других стоит к Тычкам горбатая Ручьевая гора с седой мохнатой вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных серых облаках. С Ручьевой горы сбегает много ключей и ручейков. Один такой ручеек весело катится к Тычкам и зиму и лето поит всех студеной, чистой, как слеза, водой.

Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. Две избы стоят над самой речкой, одна на крутом склоне горы, а остальные разбрелись по берегу, как овцы. В Тычках даже нет улицы, а между избами колесит избитая тропа. Да тычковским мужикам совсем и улицы, пожалуй, не нужно, потому что и ездить по ней не на чем: в Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом эта деревушка совсем отделяется от всего остального мира непроходимыми болотами, топями, и лесными трущобами, так что в нее едва можно пройти пешком только по узким лесным тропам, да и то не всегда. В ненастье сильно играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три ждать, когда вода спадет в них.

Все тычковские мужики записные охотники. Летом и зимой они почти не выходят из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время года приносит с собой известную добычу: зимой бьют медведей, сохатых, куниц, волков, лисиц, осенью — белку, весной — диких коз, летом — всякую птицу. Одним словом, круглый год стоит тяжелая и часто опасная работа.

В той избушке, которая стоит у самого леса, живет старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емели совсем вросла в землю и глядит на свет божий всего одним окном, крыша на избушке давно прогнила, от трубы остались только обвалившиеся кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая — ничего не бывало у емелиной избушки. Только под крыльцом из неотесанных бревен воет по ночам голодный Лыско, одна из самых лучших охотничьих собак в Тычках. Перед каждой охотой Емеля три дня морит несчастного Лыска, чтобы он лучше искал дичь и выслеживал всякого зверя.

— Дедко, а дедко! — с трудом спрашивал маленький Гришутка однажды вечером. — Теперь олени с телятами ходят, дедко?

— С телятами, Гришук, — отвечал Емеля, доплетая новые лапти.

— Вот бы, дедко, теленочка добыть... а?

— Погоди, добудем... Жары наступили, олени с телятами в чаще прятаться будут от оводов, тут я тебе и теленочка добуду, Гришук.

Мальчик ничего не ответил, а только тяжело вздохнул. Гришуку было всего лет шесть, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под теплой оленьей шкурой. Мальчик простудился еще весной, когда таял снег, и все не мог поправиться. Его смуглое личико побледнело и вытянулось, глаза сделались большие, нос обострился. Емеля видел, как внучек таял не по дням, а по часам, но не знал, чем помочь горю. Поил какой-то травой, два раза носил в баню — больному не делалось лучше. Мальчик почти ничего не ел. Пожует корочку черного хлеба и оставит. Оставалось от весны соленая козлятина, но Гришук и смотреть на нее не мог.

«Ишь, чего захотел: теленочка, — думал старый Емеля, доковыривая свой лапоть. — Ужо, надо добыть».

Емеле было лет семьдесят, — седой, сгорбленный, худой, с длинными руками. Пальцы на руках у Емели едва разгибались, точно это были деревянные сучья. Но ходил он еще бодро и кое-что добывал охотой. Только вот глаза сильно начали изменять старику, особенно зимой,

когда снег искрится и блестит кругом алмазной пылью. Из-за емелиных глаз и труба развалилась, и крыша прогнила, и сам он сидит частенько в своей избушке, когда, другие в лесу.

Пора старику на теплую печку, да замениться некем, а тут вот еще Гришутка на руках очутился, о нем нужно позаботиться... Отец Гришутки умер три года назад от горячки, мать заели волки, когда она с маленьким Гришуткой зимним вечером возвращалась из деревни в свою избушку. Ребенок спасся каким-то чудом. Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребенка своим телом, и Гришутка остался жив.

Старому деду пришлось выращивать внучка, а тут еще болезнь приключилась. Беда не приходит одна...

II

Стояли последние дни месяца, самое жаркое время в Тычках. Дома остались только старые да малые. Охотники давно разбрелись по лесу за оленями. В избушке Емели бедный Лыско уже третий день завывал от голоду, как волк зимой.

— Видно, Емеля на охоту собрался, — говорили в деревне бабы.

Это была правда. Действительно, Емеля скоро вышел из своей избушки с кремневой винтовкой в руке, отвязал Лыска и направился к лесу. На нем были новые лапти, котомка с хлебом за плечами, рваный кафтан и теплая оленья шапка на голове. Старик давно уже не носил шляпы, а зиму и лето ходил в своей оленьей шапке, которая отлично защищала его лысую голову от зимнего холода и от летнего зноя.

— Ну, Гришук, поправляйся без меня, — говорил Емеля внуку на прощанье. — За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за теленком хожу...

— А принесешь теленка-то, дедко?

— Принесу, сказал.

— Желтенького?..

— Желтенького...

— Ну, я буду тебя ждать... Смотри, не промахнись, когда стрелять будешь...

Емеля давно собирался за оленями, да все жалел бросить внучка одного, а теперь ему было как-будто лучше, и старик решился попытать счастья. Да и старая Маланья поглядит за мальчиком, — все же лучше, чем лежать одному в избушке.

В лесу Емеля был, как дома. Да и как ему не знать этого леса, когда он целую жизнь бродит по нему с ружьем да с собакой. Все тропы, все приметы, — все знал старик на сто верст кругом. А теперь, в конце июня, в лесу было особенно хорошо: трава красиво пестрела распустившимися цветами, в воздухе стоял чудный аромат душистых трав, а с неба глядело ласковое летнее солнышко, обливавшее ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в осоке речку, и далекие горы. Да, чудно, хорошо было кругом и Емеля не раз останавливался, чтобы перевести дух и оглянуться назад. Тропинка, по которой он шел, змейкой взбиралась на гору, минуя большие камни и крутые уступы. Крупный лес был вырублен, а около дороги ютились молодые березки, кусты жимолости и зеленым шатром раскидывалась рябина. Там и сям попадались густые перелески из молодого ельника, который зеленой щеткой вставал по сторонам дороги и весело топорщился лапистыми и мохнатыми ветвями. В одном месте, с половины горы открывался широкий вид на далекие горы и на Тычки. Деревушка совсем спряталась на дне глубокой горной котловины, и крестьянские избы казались отсюда черными точками: Емеля, заслонив глаза от солнца, долго глядел на свою избушку и думал о внучке.

— Ну, Лыско, ищи, — говорил Емеля, когда они спустились с горы и повернули с тропы в сплошной дремучий ельник.

Лыску не нужно было повторять приказание. Он отлично знал свое дело и, уткнув свою острую морду в землю, исчез в густой зеленой чаще. Только на время мелькнула его спина с желтыми пятнами.

Охота началась.

Громадные ели поднимались высоко к небу своими острыми вершинами. Мохнатые ветви переплетались между собой, образуя над головой охотника непроницаемый тесный свод, сквозь который только кое-где весело глянет солнечный луч и золотым пятном обожжет желтоватый мох или широкий лист папоротника. Трава в таком лесу не растет, и Емеля шел по мягкому желтоватому мху, как по ковру.

Несколько часов брел охотник по этому лесу. Лыско точно в воду канул. Только изредка хрустнет ветка под ногой или пролетит пестрый дятел. Емеля внимательно осматривал все кругом; нет ли где какого-нибудь следа, не сломал ли олень рогами ветки, не отпечаталось ли на мху раздвоенное копыто, не объедена ли трава на кочках.

Начало темнеть. Старик почувствовал усталость. Нужно было подумать о ночлеге. «Вероятно, оленей распугали другие охотники», — ду-

мал Емеля. Но вот послышался слабый визг Лыска, и впереди затрещали ветви. Емеля прислонился к стволу ели и ждал...

Это был олень, настоящий десятирогий красавец-олень, самое благородное из лесных животных. Вон он приложил свои ветвистые рога к самой спине и внимательно слушает, обнюхивая воздух, чтобы в следующую минуту молнией пропасть в зеленой чаще. Старый Емеля завидел оленя, но он слишком далеко от него: не достать его пулей. Лыско лежит в чаще и не смеет дохнуть в ожидании выстрела, он слышит оленя, чувствует его запах... Вот грянул выстрел, и олень, как стрела, понесся вперед. Емеля промахнулся, а Лыско взвыл от забиравшего его голода. Бедная собака уже чувствовала запах жареной оленины, видела аппетитную кость, которую ей бросит хозяин, а вместо этого приходится ложиться спать с голодным брюхом... Очень скверная история...

— Ну, пусть его погуляет, — рассуждал вслух Емеля, когда вечером сидел у огонька под густой столетней елью. — Нам надо теленочка добывать, Лыско... Слышь.

Собака только жалобно виляла хвостом, положив острую морду между передних лап. На ее долю сегодня едва выпала одна сухая корочка, которую бросил ей Емеля.

III

Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском, и все напрасно: оленя с теленком не попадалось. Старик чувствовал, что выбивается из сил, но вернуться с пустыми руками не решался. Лыско тоже приуныл и совсем отощал, хотя и успел перехватить пару молодых зайчат.

Приходилось заночевать в лесу у огонька третью ночь. Но и во сне старый Емеля все видел желтенького теленочка, о котором его просил Гришук: старик долго выслеживал свою добычу, прицеливался, но олень каждый раз убегал от него из-под носа. Лыско тоже, вероятно, бредил оленями, потому что несколько раз взвизгивал и принимался глухо лаять.

Только на четвертый день, когда и охотник и собака совсем выбились из сил, они совершенно случайно напали на след оленя с теленком. Это было в густой еловой заросли на скате горы. Прежде всего Лыско отыскал место, где ночевал олень, а потом разнюхал и запутанный след в траве.

«Матка с теленком», — думал Емеля, разглядывая на траве следы больших и маленьких копыт. — «Сегодня утром были здесь... Лыско, ищи, голубчик!»

День был знойный. Солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву с высунутым языком, Емеля едва таскал ноги. Но вот — знакомый треск и шорох... Лыско упал в траву и не шевелится. В ушах Емели стоят слова внучка: «Дедко, добудь теленка... и непременно, чтобы был желтенький...» — Вон и матка...

Это был великолепный олень — самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел прямо на Емелю. Кучка жужжавших насекомых кружилась над оленем и заставляла его вздрагивать.

«Нет, ты меня не обманешь», — думал Емеля, выползая из своей засады...

Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями.

«Это матка меня от теленка отводит», — думал Емеля, подползая все ближе и ближе.

Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебежал несколько сажен далее и опять остановился. Емеля снова пополз с своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание, и опять олень скрылся, как только Емеля хотел стрелять.

— Не уйдет от теленка, — шептал Емеля, торопливо выслеживая зверя в течение нескольких часов.

Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. Благородное животное десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося олененка. Старый Емеля и сердился и удивлялся смелости своей жертвы. Ведь все равно, она не уйдет от него... Сколько раз приходилось ему убивать таким образом жертвовавшую собою мать. Лыско, как тень, ползал за хозяином, и когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом.

Старик оглянулся и присел: в десяти саженях от него, под кустом жимолости стоял тот самый желтенький теленок, за которым он бродил целых три дня. Это был прехорошенький олененок, всего нескольких недель, с желтым пушком и тоненькими ножками, красивая головка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею вперед, когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замиравшим сердцем взвел курок винтовки и прицелился в голову маленькому животному.

Еще одно мгновение, маленький олененок покатился бы по траве с жалобным предсмертным криком, но именно в это мгновение старый охот-

ник припомнил, с каким геройством защищала теленка его мать, припомнил, как мать его Гришутки спасла сына от волков своим телом... Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружье. Олененок попрежнему ходил около куста, общипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. Емеля быстро поднялся и свистнул. Маленькое животное скрылось в кустах с быстротой молнии.

— Ишь, какой бегун... — говорил старик, задумчиво улыбаясь. — Только его и видел: как стрела... Ведь убежал, Лыско, наш олененок-то. Ну, ему бегуну, еще надо подрасти... Ах ты какой шустрый...

Старик долго стоял на одном месте и все улыбался, припоминая бегуна...

На другой день Емеля подходил к своей избушке.

— А... дедко, принес теленка? — встретил его Гриша, ждавший все время старика с нетерпением.

— Нет, Гришук... видел его...

— Желтенький?

— Желтенький сам, а мордочка черная. Стоит под кустиком и листочки ощипывает... Я прицелился...

— И промахнулся?

— Нет, Гришук, пожалел малого зверя... матку пожалел. Как свистну, а он, теленок-то, как стреканет в чащу — только его и видел. Убежал, пострел этакий!..

Старик долго рассказывал мальчику, как он искал теленка по лесу три дня и, как тот убежал от него. Мальчик слушал и весело смеялся вместе со старым дедом.

— А я тебе старого глухаря принес, Гришук, — прибавил Емеля, кончив рассказ. — Этого все равно волки бы съели...

Глухарь был ощипан, а потом попал в горшок. Больной мальчик с удовольствием поел глухариной похлебки и, засыпая, несколько раз спрашивал старика.

— Так он убежал, олененок-то?

— Убежал, Гришук...

— Желтенький?

— Весь желтенький, только мордочка черная да копытца.

Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького желтого олененка, который весело гулял по лесу со своей матерью, а старик спал на печке и тоже улыбался во сне.

Зимовье на Студеной

1

Старик лежал на своей лавочке у печи, закрывшись старой дохой из вылезших оленьих шкур. Было рано или поздно — он не знал, да и знать не мог, потому что светало поздно, а небо еще с вечера было затянуто низкими осенними тучами. Вставать ему не хотелось: в избушке было холодно, а у него уже несколько дней болели и спина и ноги. Спать он тоже не хотел, а лежал так, чтобы провести время. Да и куда ему было торопиться? Его разбудило осторожное царапание в дверь, — это просился Музгарко, небольшая, пестрая вогульская собака, жившая в этой избушке уже лет десять.

— Я вот тебе задам, Музгарко!.. — заворчал старик, кутаясь в свою доху с головой. — Ты у меня поцарапайся!..

Собака на время перестала скоблить дверь своей лапой и потом вдруг взвыла протяжно и жалобно.

— Ах, штоб тебя волки съели! — обругался старик, поднимаясь с лавки.

Он в темноте подошел к двери, отворил ее и все понял — отчего у него болела спина и отчего завыла собака. Все, что было можно рассмотреть в приотворенную дверь, было покрыто снегом. Да, он ясно теперь видел, как в воздухе кружилась живая сетка из мягких, пушистых снежинок. В избе было темно, а от снегу все видно — и зубчатую стенку стоявшего за рекой леса, и надувшуюся, почерневшую реку, и каменистый мыс, выдававшийся в реку круглым уступом.

Умная собака сидела перед раскрытой дверью и такими умными, горящими глазами смотрела на хозяина.

— Ну, што же, значит, конец!.. — ответил ей старик на немой вопрос собачьих глаз. — Ничего, брат, не поделаешь... Шабаш!..

Собака вильнула хвостом и тихо взвизгнула тем ласковым визгом, которым встречала одного хозяина.

— Ну, шабаш, ну, што поделаешь, Музгарко!.. Прокатилось наше красное лето, а теперь заляжем в берлоге...

На эти слова последовал легкий прыжок, и Музгарко очутился в избушке раньше хозяина.

— Не любишь зиму, а? — разговаривал старик с собакой, растопляя старую печь, сложенную из дикого камня. — Не нравится, а?..

Колебавшееся в челе печки пламя осветило лавочку, на которой спал старик, и целый угол избушки. Из темноты выступали закопченные бревна, покрытые кое-где плесенью, развешанная в углу сеть, недоконченные новые лапти, несколько беличьих шкурок, болтавшихся на деревянном крюку, а ближе всего сам старик — сгорбленный, седой, с ужасным лицом.

Это лицо точно было сдвинуто на одну сторону, так что левый глаз вытек и закрылся припухшим веком. Впрочем безобразие отчасти скрадывалось седой бородой. Для Музгарки старик не был ни красив, ни некрасив.

Пока старик растоплял печь, уже рассветало. Серое зимнее утро занялось с таким трудом, точно невидимому солнцу было больно светить.

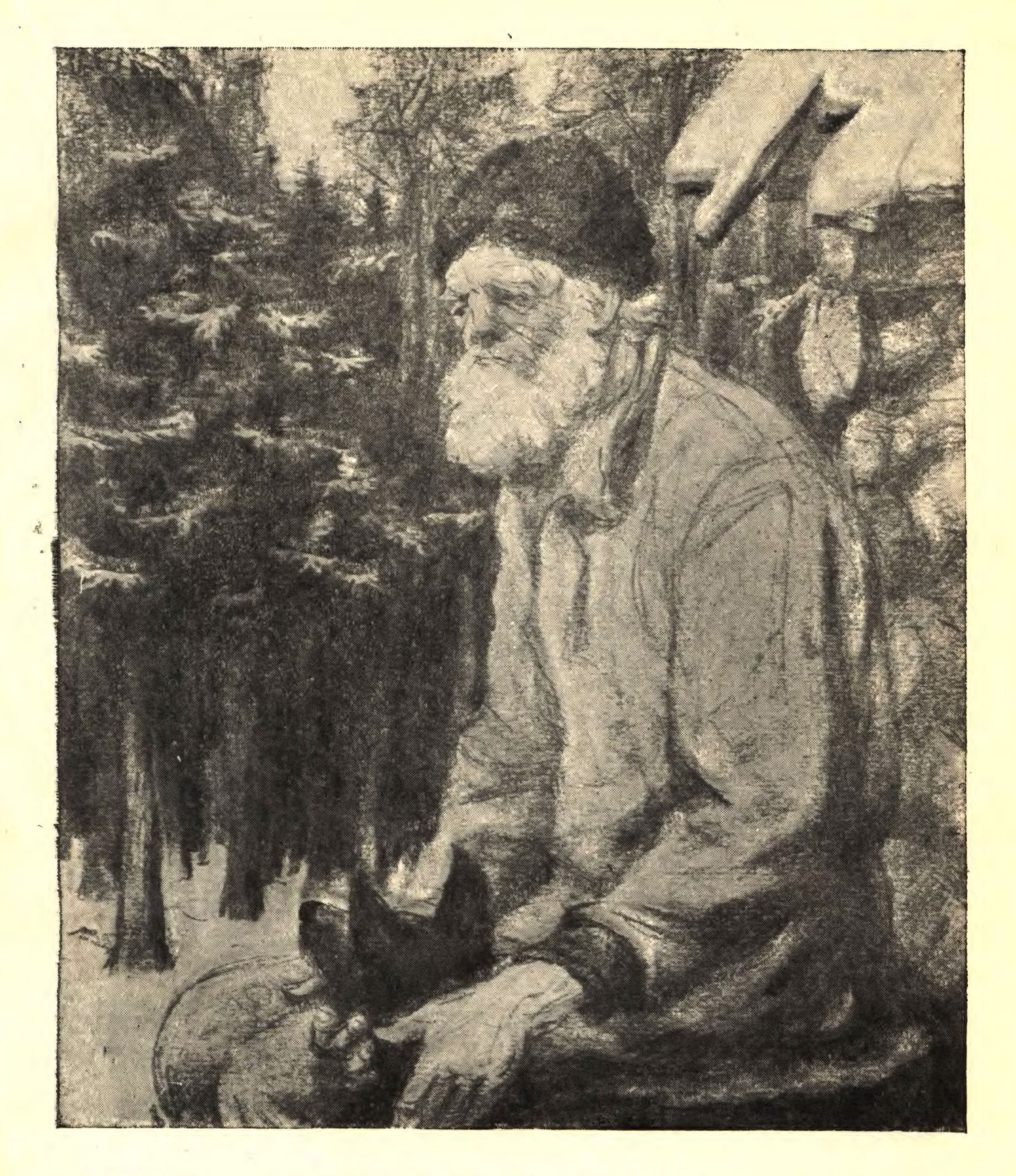
В избушке едва можно было рассмотреть дальнюю стену, у которой тянулись широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Единственное окно, наполовину залепленное рыбьим пузырем, едва пропускало свет.

Музгарко сидел у порога и терпеливо наблюдал за хозяином, изредка виляя хвостом. Но и собачьему терпению бывает конец, и Музгарко опять слабо взвизгнул.

— Сейчас, не торопись, — ответил ему старик, придвигая к огню чугунный котелок с водой. — Успеешь!..

Музгарко лег и, положив остромордую голову на передние лапы, не спускал глаз с хозяина. Когда старик накинул на плечи дырявый пониток, собака радостно залаяла и бросилась в дверь.

— То-то вот у меня поясница третий день болит, — объяснил старик собаке на ходу. — Оно и вышло, что к ненастью. Вона, как снежок подваливает.



Старик сел на обрубок дерева под окном избушки и задумался.

За одну ночь все кругом совсем переменилось: лес казался ближе, речка точно сузилась, а низкие зимние облака ползли над самой землей и только не цеплялись за верхушки елей и пихт. Вообще, вид был самый печальный, а пушинки снега продолжали кружиться в воздухе и беззвучно падали на помертвевшую землю.

Старик оглянулся назад, за свою избушку — за ней уходило ржавое болото, чуть тронутое кустиками и жесткой болотной травой. С небольшими перерывами это болото тянулось верст на пятьдесят и отделяло избушку от всего живого мира. А какая она маленькая показалась теперь старику, эта избушка точно за ночь вросла в землю...

К берегу была причалена лодка-душегубка. Музгарко первый вскочил на нее, оперся передними лапами на край и зорко посмотрел вверх реки, туда, где выдавался мыс, и слабо взвизгнул.

— Чему обрадовался спозаранку? — окликнул его старик, — погоди, может и нет ничего...

Собака знала, что есть, и опять взвизгнула: она видела затонувшие поплавки закинутый в омуте снасти. Лодка полетела вверх по реке у самого берега. Старик стоял на ногах и гнал лодку вперед, подпираясь шестом. Он тоже знал по визгу собаки, что будет добыча. Снасть, действительно, огрузла самой срединой и, когда лодка подошла, деревянные поплавки повело книзу.

— Есть, Музгарко...

Снасть состояла из брошенной поперек реки бечевы с поводками из тонких шнуров и волосяной лесы. Каждый поводок заканчивался острым крючком. Подъехав к концу снасти, старик осторожно начал выбирать ее в лодку. Добыча была хорошая: два больших сига, несколько судаков, щука и целых пять штук стерлядей. Щука попалась большая, и с ней было много хлопот. Старик осторожно подвел ее к лодке и сначала оглушил своим шестом, а потом уже вытащил. Музгарко сидел в носу лодки и внимательно наблюдал за работой.

— Любишь стерлядку? — дразнил его старик, показывая рыбу. — А ловить не умеешь!.. Погоди, заварим сегодня уху. К ненастью рыба идет лучше на крюк. В омуте теперь она сбивается на зимнюю лежанку, а мы ее из омута и будем добывать: вся наша будет. Лучить ужо поедем... Ну, а теперь айда домой!.. Судаков-то подвесим, высушим, а потом купцам продадим...

Старик запасал рыбу с самой весны: часть вялил на солнце, другую сушил в избе, а остатки сваливал в глубокую яму, в роде колодца —

эта последняя служила кормом Музгарке. Свежая рыба не переводилась у него целый год, только нехватало у него соли, чтобы ее солить, да и хлеба не всегда доставало, как было сейчас. Запас ему оставляли с зимы до зимы.

— Скоро обоз придет, — объяснил старик собаке. — Привезут нам с тобой хлеба, и соли, и пороху... Вот только избушка наша совсем развалилась, Музгарко.

Осенний день короток. Старик все время проводил около своей избушки, поправляя и то и другое, чтобы лучше ухорониться на зиму. В одном месте мох вылез из пазов, в другом — бревно подгнило, в третьем — угол совсем осел и, того гляди, отвалится. Давно бы уж новую избушку пора ставить, да одному все равно ничего не поделать.

— Как-нибудь, может, перебьюсь зиму, — думал старик вслух, постукивая топором в стену. — А вот обоз придет, так тогда...

Выпавший снег все мысли старика сводил на обоз, который приходил по первопутку, когда вставали реки. Людей он только и видел один раз в году. Было о чем подумать. Музгарко отлично понимал каждое слово хозяина и при одном слове «обоз» смотрел вверх реки и радостно взвизгивал, точно хотел ответить, что вон, мол, откуда придет обоз-то, из-за мыса.

К избе был приделан довольно большой низкий сруб, служивший летом амбаром, а зимой казармой для ночлега ямщиков. Чтобы защитить от зимней непогоды, лошадей, старик с осени устраивал около казармы из молодых, пушистых пихт большую загородку. Намаются лошади тяжелой дорогой, запотеют, а ветер дует холодный, особенно с солнцевосхода. Ах, какой бывает ветер! — даже дерево не выносит и поворачивает свои ветви в теплую сторону, откуда весной летит всякая птица.

Кончив работу, старик сел на обрубок дерева под окном избушки и задумался. Собака села у его ног и положила свою умную голову к нему на колени.

О чем думал старик? Первый снег всегда и радовал его и наводил тоску, напоминая старое, что осталось вот за теми горами, из которых выбегала река Студеная. Там у него были и свой дом, и семья, и родные были, а теперь никого не осталось. Всех он пережил, и вот где привел бог кончать век: умрет — некому глаз закрыть. Ох, тяжело старое одиночество, а тут лес кругом, вечная тишина, и не с кем слово сказать.

Одна отрада оставалась — собака. И любил же ее старик гораздо больше, чем любят люди друг друга. Ведь она для него была все, и тоже любила его. Не один раз случалось так, что на охоте Музгарко жертвовал своей собачьей жизнью за хозяина, уже два раза медведь помял его за отчаянную храбрость.

— А ведь стар ты стал, Музгарко, — говорил старик, гладя собаку по спине. — Вон и спина прямая стала, как у волка, и зубы притупились, и в глазах муть... Эх, старик, старик, съедят тебя зимой волки! Пора, видно, нам с тобой и помирать.

Собака была согласна и помирать... Она только теснее прижималась всем телом к хозяину и жалобно моргала.

А он сидел и все смотрел на почерневшую реку, на глухой лес, зеленой стеной уходивший на сотни верст туда, к студеному морю, на чуть брезжившие горы в верховьях Студеной, смотрел и не шевелился, охваченный своей тяжелой стариковской думой.

Вот о чем думал старик.

Родился и вырос он в глухой деревушке Чалпан, засевшей на реке Колве. Место было глухое, лесистое, хлеб не родился, мужики промышляли кто охотой, кто сплавом леса, кто рыбной ловлей. Деревня была бедная, как почти все деревни в Чердынском краю, и многие уходили на промысел куда-нибудь на сторону: на солеваренные промыслы на Усолье, на плотбища по реке Вишере, где строились лесопромышленниками громадные баржи, на железные заводы по р. Каме. Старик тогда был совсем молодым, а звали его по деревне Елеской Шишмарем — вся семья была Шишмари.

Отец промышлял охотой, и Елеско с ним, еще мальчиком, прошел всю Колву. Били они и рябчика, и белку, и куницу, и оленя, и медведя, — что попадет. Из дому уходили недели на две, на три.

Потом Елеска вырос, женился и зажил своим домом в Чалпане, а сам попрежнему промышлял охотой. Стала потихоньку подрастать вся семья, — два мальчика да девочка, славные ребятишки росли и были бы отцу подмогой на старости лет. Но в холерный год семья Елески вымерла... Случилось это горе осенью, когда он ушел с артелью других охотников в горы за оленями. Ушел он семейным человеком, а вернулся бобылем. Тогда половина народу в Чалпане вымерла: холера прошла на Колву с Камы, куда уходили на сплавы чалпанские мужики. Они занесли с собой страшную болезнь, которая косила людей, как траву. Долго горевал Елеска, но второй раз не женился; поздно было вторую семью

заводить. Так он и остался бобылем и пуще прежнего занялся охотой. В лесу было весело, да и привык уж очень к такой жизни Елеска.

Только и тут стряслась с ним великая беда. Обошел он медвежью берлогу, хорошего зверя подглядел и уже вперед рассчитывал, что в Чердыни за медвежью шкуру получит все пять рублей. Не в первый раз на медведя выходил с рогатиной да с ножом, но на этот раз сплоховал — поскользнулась у Елески одна нога, и медведь насел на него. Рассвирепевший зверь обломал охотника насмерть, а лицо его сдвинул ударом лапы на сторону. Едва приполз Елеска из лесу домой, и здесь свой знахарь лечил его целых полгода: остался жив, а только сделался уродом. Не мог далеко уходить в лес, как прежде, когда ганивал сохатого на лыжах верст по семидесяти, не мог промышлять наравне с другими охотниками, одним словом, пришла беда неминучая. В своей деревне делать Елеске было нечего, кормиться мирским подаянием не хотел, и отправился он в город Чердынь, к знакомым купцам, которым раньше продавал свою охотничью добычу. Может, место какое-нибудь отыщут Елеске богатые купцы.

— Бывал на волоке, с Колвы на Печору? — спрашивали его промышленники. — Там на реке Студеной зимовье, так вот тебе быть там сторожем. Вся работа только — зимой встретить да проводить обозы, а там гуляй себе целый год. Харч мы тебе будем давать, и одежду, и припас всякий для охоты — поблизости от зимовья промышлять можешь.

— Далеконько, ваше степенство... — замялся Елеска. — Во все стороны от зимовья верст на сто жилья нет, а летом туда не пройдешь.

— Уж это дело твое, выбирай из любых: дома голодать или на зимовье барином жить.

Подумал Елеска и согласился, а купцы высылали ему и харч и одежду только один год. Потом Елеска должен был покупать все на свои деньги от своей охоты и рыбной ловли на зимовье. Так он и жил в лесу. Год шел за годом. Елеска состарился и боялся только одного, что придет смертный час и некому будет его похоронить.

II

До обоза, пока реки еще не встали, старик успел несколько раз сходить на охоту. Боровой рябчик поспел давно, но бить его не стоило, потому что все равно сгниет в тепле. Обозный приказчик всегда поку-

пал у старика рябчиков с особым удовольствием, потому что из этих мест шел крепкий и белый рябчик, который долго не портился, а это всего важнее, потому что убитые на Студеной рябчики долетали до Парижа. Их скупали купцы в Чердыни, а потом отправляли в Москву, а из Москвы рябчиков везли громадными партиями за границу. Старик на двадцать верст от своей избушки знал каждое дерево и с лета замечал выводки рябчиков, где они высиживались, паслись и кормились. Когда выводки поспевали, он знал, сколько штук в каждом, но для себя не прочил ни одного, потому что рябчик был самый дорогой товар, и он получал за него самый дорогой припас — порох и дробь.

Нынешняя охота посчастливилась необыкновенно, так что старик заготовил пар тридцать еще до прихода обоза и боялся только одного, как бы не ударила ростепель. Редко случалась такая ростепель на Студеной, но могла и быть.

— Ну, теперь, мы с тобой на припас добыли, — объяснил старик собаке, с которой всегда разговаривал, как с человеком. — И пока обоз ходит с хлебом на Печору, мы и харч себе обработаем... Главное — соли добыть побольше. Ежели бы у нас с тобой соль, так богаче бы нас не было, вплоть до самой Чердыни.

О соли старик постоянно говорил: «Ах, кабы соль была, не житье, а рай». Теперь рыбу ловил только для себя, а остальную сушил, — какая цена такой сушеной рыбе. А будь соль, тогда бы он рыбу солил, как печорские промышленники, получал бы за нее вдвое больше, чем теперь, но соль стоила дорого, а запасать ее приходилось бы пудов по двадцати, — где же такую уйму деньжищ взять, когда с грехом пополам хватало на харч да на одежду. Особенно жалел старик, когда летним делом в петровки убивал оленя: свежее мясо портится скоро, — два дня поест оленины, а потом бросай. Сушеная оленина — как дерево.

Стала и Студеная. Горная холодная вода долго не замерзает, а потом лед везде проедается полыньями. Это ключи из земли бьют. Запасал теперь старик и свежую рыбу, которую можно было морозить, как рябчиков. Лиха беда в том, что времени было мало. Того и гляди, что подвалит обоз.

— Скоро, Музгарко, харч нам придет.

Собственно, хлеб у старика вышел еще до заморозков, и он подмешивал к остаткам ржаной муки толченую сухую рыбу. Есть одно мясо или одну рыбу было нельзя. Дня через три так отобьет, что потом и в рот не возьмешь. Конечно, самоеды и вогулы питаются одной ры-

бой, так они к этому привыкли, а русский человек — хлебный и не может по-ихнему.

Обоз пришел совершенно неожиданно. Старик спал ночью, когда заскрипели возы и послышался крик:

— Эй, дедушка, жив ли? Принимай гостей... Давно не видались!..

Старика больше всего поразило то, что Музгарко прокараулил дорогих жданных гостей. Обыкновенно, он чуял их, когда обоз был версты за две, а нынче не слыхал. Он даже не выскочил на улицу, чтобы полаять на лошадей, а стыдливо спрятался под хозяйскую лавку и не подал голоса.

— Музгарко, да ты не умер ли? — удивлялся старик. — Проспал обоз... Ах нехорошо!..

Собака выползла из-под лавки, лизнула его в руку и опять скрылась: она сама чувствовала себя виноватой.

— Эх, стар стал: нюх потерял, — заметил с грустью старик — И слышит плохо на левое ухо.

Обоз состоял возов из пятидесяти... На Печору чердынские купцы отправляли по первопутку хлеб, соль, разные харчи и рыболовную снасть, а оттуда вывозили свежую рыбу. Дело было самое спешное, чтобы добыть печорскую рыбу раньше других — шла дорогая печорская семга. Обоз должен сломать трудную путину в две недели, и ямщики спали только во время кормежек, пока лошади отдыхали. Особенно торопились назад, тогда уж и спать почти не приходилось. А дорога через волок была трудная, особенно горами. Дорога скверная, каменистая, сани некованые, а по речкам везде наледи да промоины. Много тут погублено хороших лошадей, а людям приходилось работать, как нигде: вывозить воза в гору на себе, добывать их из воды, вытаскивать из раскатов. Только одни колвинские ямщики и брались за такую проклятую работу, потому что гнала на Печору горькая нужда. В зимовье на Студеной обоз делал передышку: вместо двухчасовой кормежки, лошади здесь отдыхали целых четыре. Казарму старик подтопил заранее, и ямщики, пустив лошадей к корму, завалились спать на деревянных нарах мертвым сном.

Не спал только молодой приказчик, еще в первый раз ехавший в Печору. Он сидел у старика в избушке и разговаривал:

— И не страшно тебе в лесу, дедушка?

— А чего бояться? Привычное наше дело. В лесу выросли.

— Да как же не бояться: один в лесу...

— Да у меня песик есть... Вот вдвоем и коротаем время. По зимам вот волки одолевают, так он мне вперед сказывает, когда придут они в гости. Чует... И дошлая: сама подманивает волков. Они бросятся за ней, а я их из ружья. Умнеющая собака: только не скажет, как человек. Я с ней всегда разговариваю, а то, пожалуй, и говорить разучишься.

— Откуда же ты такую добыл, дедушка?

— Давно это было, почитай годов с десять. Вот по зиме, этак перед рождеством, выслеживал я в горах лосей... Была у меня собака, еще с Колвы привел. Ну, ничего, правильный песик: и зверя брал, и птицу искал, и белку — все как следует. Только иду с ним по лесу, и вдруг вот этот Музгарко прямо как выскочит на меня. Даже испугал... Не за обычай это у наших промысловых собак, штобы к незнакомому человеку ластиться, как к хозяину, а эта прямо ко мне и бросилась. Вижу што дело как будто неладно. А он этак смотрит на меня умненько таково, а сам ведет все дальше... И што бы ты думал, братец ты мой, ведь привел. В логовине этак вижу шалашик из хвои, а из шалашика чуть пар... Подхожу. В шалашике вогул лежит, — болен, значит, и от своей артели отстал... Пряменько сказать: помирал человек. На охоте его ухватила немочь, другим-то не ждать. Увидал меня, обрадовался, а сам едва уже языком ворочает. Больше все руками объяснял. Вот он меня и благословил этим песиком. При мне и помер, сердяга, а я его закопал в снегу, заволок хворостом да бревном придавил сверху, штобы волки не съели. А Музгарко, значит, мне достался... Это по речке я его и назвал. Где вогул помирал. Музгаркой звать речку, ну, я и собаку так же назвал. И умный песик... По лесу идет, так после него хоть метлой подметай — ничего не найдешь. Ты, думаешь, он вот сейчас не понимает, што о нем говорят. Все понимает!

— Зачем он под лавкой-то лежит?

— А устыдился, потому обоз прокараулил. Стар стал. Два раза меня от медведя ухранял: медведь-то на меня, а он его и остановил. Прежде я с рогатиной ходил на медведя, когда еще в силе был, а как один меня починил, ну я уж из ружья норовлю его свалить. Тоже его надо умсючи взять: смышлястый зверь.

— Ну, а зимой-то, поди, скучно в избушке сидеть?

— Привышное дело... Вот только праздники когда, так скушновато.

Славный этот приказчик, молодой такой, и все ему надо знать. Елеска обрадовался живому человеку и все рассказывал про свою одинокую жизнь в лесу.

— У меня по весне праздник бывает, милый человек, когда с теплого моря птица прилетит. И сколько ее летит: туча... По Студеной-то точно ее насыпано... Всякого сословия птицы: и утки, и гуси, и кулики, и чайки, и гагары... Пойдешь на заре, так стон стоит по Студеной. И нет лучше твари, как перелетная птица. Большие тыщи верст летит, тоже устанет, затощает и месту рада. Прилетела, вздохнула денек и сейчас гнездо налаживать... А я хожу и смотрю. И как наговаривают... Слушаешь, слушаешь, инда слеза проймет. Любезная тварь перелетная птица... Я ее не трогаю. А когда гнезда она строит... Человеку так не состроить. А потом матки с выводками на Студеную выплывут... Красота, радость. Плавают, полощутся, гогочут... Неочерпаемо здесь перелетной птицы. Праздником все летичко прокатится, а к осени начнет птичка грудиться стайками: пора опять в дорогу. И собираются, как люди... Лопочут по-своему, суетятся, молодых учат, а потом и поднялись... Ранним утром снимаются с места, вожак в голове летит. А есть и такие, которые остаются: здоровьем слаба выйдет, или позднышки выведутся... Жаль на них глядеть. Кричат, бедные, когда мимо них стая за стаей летит. На Студеной все околачиваются... Плавают, плавают, пока забереги застынут, потом в полыньях кружатся... Ну, этих уже я из жалости пришибу. Што ей маяться-то, все равно сгибнет... Лебеди у меня тут в болоте гнезда вьют. Всякой твари свое произволье, свой предел... Одного только у меня нехватает, родной человек, который год прошу ямщиков, чтобы петушка мне привезли... Зимой-то ночи долгие, конца нет, а петушок-то и сказал бы, который час на дворе.

— В следующий раз я тебе привезу самого горластого, дедушка: как дьякон будет орать...

— Ах, родной, то-то уважил бы старика... Втроем бы мы вот как зажили. Скушно, когда по зимам мертвая тишь встанет, а тут бы петушок, глядишь, и взвеселил. Тоже не простая тваринка, петушок-то: другой такой нет, чтобы часы сказывала. На потребу человеку петушок сотворен.

Приказчика звали Флегонтом. Он оставил старику Елеске и муки, и соли, и новую рубаху, и пороху, а на обратном пути с Печоры привез подарок.

— Я тебе часы привез, дедушка, — весело говорил он, подавая мешок с петухом.

— Ах, кормилец, ах, родной... Да как я тебя благодарить буду.

Ну, пошли тебе бог всего, чего сам желаешь. Поди и невеста где-нибудь подгляжена, так любовь да совет!..

— Есть такой грех, дедушка, — весело ответил Флегонт, встряхивая русыми кудрями: — Есть в Чердыни два светлых глаза: посмотрели они на меня да и заворожили... Ну, оставайся с богом!

— Соболька припасу твоей невесте на будущую осень, как опять проедешь на Печору. Есть у меня один на примете.

Ушел обоз в обратный путь, и остался старик с петушком. Радости-то сколько!.. Пестренький петушок, гребешок красненький — ходит по избушке, каждое перышко играет. А ночью, как гаркнет... То-то радость и утешение. Каждое утро стал Елеска теперь разговаривать с своим петушком, и Музгарко их слушает.

— Што, завидно тебе, старому? — дразнит Елеска собаку. — Только твоего ремесла, что лаять... А вот ты по-петушиному спой...

Заметил старик, как-будто заскучал Музгарко. Понурый такой ходит... Неможется что-то собаке. Должно полагать, ямщики сглазили.

— Музгарушко, да што это с тобой попритчилось? Где болит?

Лежит Музгарко под лавкой, положив голову между лапами и только глазами моргает.

Всполошился старик: накатилась беда неожиданная. А Музгарко все лежит, не ест, не пьет и голосу не подает.

— Музгарушко, милый...

Вильнув хвостом, Музгарко подполз к хозяину, лизнул руку и тихо взвыл.

Ох, плохо дело!..

III

Ходит ветер по Студеной, наметает саженные сугробы снега, завывает в лесу, точно голодный волк, а избушка Елески совсем потонула в снегу. Торчит без малого одна труба да вьется из нее синяя струйка дыму.

Воет пурга уже две недели. Две недели не выходит из своей избушки старик и все сидит над больной собакой. А Музгарко лежит и едва дышит: пришла музгаркина смерть.

— Кормилец ты мой... — плачет старик и целует верного друга. — Родной ты мой... ну, где болит?..

Ничего не отвечает Музгарко, как раньше. Он давно почуял свою

смерть и молчит... Плачет, убивается старик, а помочь нечем; от смерти лекарства нет. Ах, горе какое лютое привалилось!

С Музгаркой умерла последняя надежда старика, и ничего, ничего не оставалось для него, кроме смерти. Кто теперь будет искать белку, кто облает глухаря, кто выследит оленя! Смерть без Музгарки, ужасная голодная смерть. Хлебного припасу едва хватит до крещенья, а там помирать...

Воет пурга, а старик вспоминает, как жил он с Музгаркой, как ходил на охоту и промышлял себе добычу. Куда он без собаки? А тут еще волки... Учуяли беду, пришли к избушке и завыли. Целую ночь так-то выли, надрывая душу. Некому теперь пугнуть их. Облаять, подманить на выстрел...

Вспомнился старику случай, как одолевал его медведь-шатун. Шатунами называют медведей, которые во-время не залегли с осени в берлогу и бродят по лесу. Такой шатун — самый опасный зверь... Вот и повадился медведь к избушке, учуял запасы у старика. Как ночь, так и придет. Два раза на крышу залезал и лапами загребал снег. Потом выворотил дверь в казарме и утащил целый ворох запасенной стариком рыбы. Донял-таки шатун Елеску до самого нельзя. Озлобился на него старик за озорство, зарядил винтовку пулей и вышел с Музгаркой. Медведь так и прянул на старика и наверно бы его смял под себя, прежде чем тот успел бы в него выстрелить, но спас Музгарко. Ухватил он зверя сзади и посадил, а Елескина пуля не знала промаха... Да мало ли было случаев, когда собака спасала старика...

Музгарко издох перед самым рождеством, когда мороз трещал в лесу. Дело было ночью. Елеска лежал на своей лавочке и дремал. Вдруг его точно что кольнуло. Вскочил он, вздул огня, зажег лучину, подошел к собаке. Музгарко лежал мертвый. Елеска похолодел: это была его смерть.

— Музгарко, Музгарко! — повторял несчастный старик, целуя мертвого друга. — Што я теперь делать буду без тебя?

Не хотел Елеска, чтобы волки съели Музгарку и закопал его в казарме. Три дня он долбил мерзлую землю, сделал могилку и со слезами похоронил в ней верного друга.

Остался один петушок, который попрежнему будил старика ночью. Проснется Елеска и сейчас вспомнит про Музгарку. И сделается ему горько и тошно до смерти. Поговорить не с кем. Конечно, петушок птица занятная, а все-таки птица, и ничего не понимает.

— Эх, Музгарко! — повторяет Елеска по несколько раз в день, чувствуя, как все начинает у него валиться из рук.

Бедным людям приходится забывать свое горе за работой. Так было и тут. Хлебные запасы приходили к концу, пора было Елеске подумать о своей голове. А главное, тошно ему теперь показалось оставаться в своей избушке.

— Эх, брошу все, уйду домой на Колву, а то в Чердынь проберусь, — решил старик.

Поправил он лыжи, на которых еще молодым гонял оленей, снарядил котомку, взял запасу дней на пять, простился с музгаркиной могилой и тронулся в путь. Жаль было петушка оставлять одного, и Елеска захватил его с собой: посадил в котомку и понес. Отошел старик до каменного мыса, оглянулся на свое жилье и заплакал: жаль стало насиженного теплого угла.

— Прощай, Музгарко!

Трудная дорога вела с зимовья на Колву. Сначала пришлось итти на лыжах по Студеной. Это было легко, но потом начались горы, и старик скоро выбился из сил. Прежде-то, как олень, бегал по горам, а тут на двадцати верстах обессилел. Хоть ложись и помирай... Выкопал он в снегу ямку поглубже, устлал хвоей, развел огонька, поел, что было в котомке, и прилег отдохнуть. И петушка закрыл котомкой!.. С устали он скоро заснул. Сколько он спал, долго ли, коротко ли, только проснулся от петушиного крика...

— Волки! — мелькнуло у него в голове.

Хочет он подняться и не может, точно кто его связал веревками. Даже глаз не может открыть... Еще раз крикнул петух и затих: его вместе с котомкой утащил из ямы волк. Хочет подняться старик, делает страшное усилие и слышит вдруг знакомый лай: точно где-то под землей залаял Музгарко. Да, это он... Ближе, ближе, это он по следу нижним чутьем идет. Вот уж совсем близко, у самой ямы. Открывает Елеска глаза и видит, действительно, Музгарко, а с Музгаркой тот самый вогул — первый его хозяин, которого он в снегу схоронил.

— Ты здесь дедушка? — спрашивает вогул, а сам смеется. — Я за тобой пришел...

Дунул холодный ветер, рванул комья снега с высоких елей и пихт, и посыпался он на мертвого Елеску: к утру от его ямки и следов не осталось.

В глуши

I

Деревня Шалайка засела в страшной лесной глуши, на высоком берегу реки Чусовой. Колесная дорога кончалась в Шалайке, а дальше уже некуда было и ехать.

Издали Шалайка была очень красива, особенно, если смотреть с реки, — избы стояли на самом солнышке, как крепкие зубы, и какие были избы: одна другой лучше, — благо, лес был под рукой и обошел деревушку зеленой зубчатой стеной. Пашен было совсем мало, потому что шалаевцы промышляли главным образом лесом, да и в горах лета стоят холодные, и земля плохо родила. Вот сено было нужно, и его косили по лесным еланям[1] или мысам на реке Чусовой и заливным побережьям. Всех дворов в Шалайке насчитывали двадцать семь, и все шалаевцы составляли одну громадную семью, связанную родственными отношениями.

Изба Пимки стояла на самом юру, то-есть почти на обрыве. Летом из окошек можно было видеть разлив реки Чусовой верст на пять. Сейчас за рекою шел нескончаемый лес, и никто в Шалайке не знал, где он кончается, точно деревня стояла на краю света. Пимке шел уже десятый год, и он нигде не бывал и ничего не видал, кроме своей деревни. Все шалаевцы любили свою деревню; когда молодых парней сдавали в солдаты, они расставались с родным гнездом со слезами. Пимка помнил, как провожали в солдаты его старшего брата Ефима и других парней, и тоже ревел вместе со всеми...

— Перестаньте вы, глупые! — уговаривал дядя Акинтич, отставной солдат. — О чем вы плачете? Не с волками будет жить, а с добрыми

[1] Широкие поляны в лесу.

людьми; по крайней мере, всего посмотрит, как другие живут, ну, и поучится на людях. В Шалайке-то всю бы жизнь в лесу прожил... Не велика радость!..

Солдату Акинтичу никто не верил. Хорошо было говорить, когда сам отслужил свою службу. Если бы уж было так сладко на чужой стороне, так зачем солдат вернулся опять к себе в Шалайку? Акинтич жил у отца Пимки, потому что своя семья как-то разошлась: старики примерли, сестры повыходили замуж, а с женатыми братьями солдат не ладил.

Пимка ужасно любил солдата Акинтича, который так хорошо рассказывал и знал решительно все, рассказывал даже лучше бабушки Акулины, которая знала только сказки да «про старину». Когда брат Ефим ушел в солдаты, Акинтич занял его место. Семья была хоть и большая, но настоящих работников осталось всего двое: отец — Егор да второй брат — Андрей. Был еще дедушка Тит, только он уж не мог итти за работника, потому что жил в лесу и домой редко приходил. Бабы в счет не шли. Мать Авдотья управлялась по дому, а старшая сестра Домна была «не со всем умом».

С этой Домной вышел такой случай. Летом бабы пошли за малиной на старый Матюгин курень, и Домна с ними. Она была еще подростком и как-то отбилась от партии. Искали-искали ее бабы и не могли найти. Потом целых три дня искали по лесу всей деревней и тоже не нашли. Так и решили, что Домну задрал медведь. Разыскал ее уже на пятый день дедушка Тит. Забилась Домна на сосну, уцепилась и голосу не подает. Едва старик отцепил ее от дерева и привел домой, еле живую. С тех пор Домна и стала «не со всем умом». Все молчит, что ей ни говорят. Работать — работала, когда мать заставляла, а так, — все равно, что дитя малое. Деревенские ребятишки любили ее дразнить. Обступят гурьбой и кричат:

— Домна, покажи, как лешак хохочет!..

Стоило сказать ей, как Домна принималась дико хохотать, выкатывала глаза и делалась очень страшной. Кроме Домны были еще ребятишки, но те совсем еще малыши и ни в какой счет не шли.

Вся Шалайка промышляла лесной работой, и семья Пимки — тоже. Еще дед Тит работал в курене, и отец Пимки — Егор принял его на работу. Другие рубили дрова, вывозили лес на Чусовую, где вязались плоты, и сплавляли бревна на нижние пристани. Работа была не легкая, но все привыкли к ней и ничего лучшего не желали.

Пимка тоже знал, что будет работать в курене, и часто говорил отцу:

— Тятя, а когда ты возьмешь меня в курень?

— Погоди, твое время еще впереди, Пимка... Успеешь и в курене наработаться, дай срок.

И Пимка ждал. Ему казалось, что как только он уедет в курень, так сейчас же сделается большим. До куреня считали верст тридцать, и проехать туда можно было только зимними дорогами. Дедушка Тит оставался там иногда и на лето.

В Шалайку никто не приезжал, да и ехать дальше было некуда. Из «чужестранных» людей изредка появлялись только куренные подрядчики да охотники, промышлявшие поздней осенью рябчиков и белку. Солдат Акинтич тоже «ясачил»[1] в свободное время и водил дружбу со всеми охотниками. Они и останавливались в избе Егора.

Пимка, лежа на полатях, любил послушать охотничьи разговоры, особенно когда заходила речь о проказах косолапого Мишки.

Дедушка Тит убил не один десяток медведей, но не любил об этом говорить. Он бросил совсем охоту, когда последний медведь так помял ему ноги, что дедушка остался хромым на всю жизнь.

Самое веселое время в Шалайке было весной, когда по Чусовой проходил сверху караван. Вешняя полая вода поднималась в реке сажени на две, и по ней быстро летели сотни барок. Вся деревня высыпала на берег посмотреть. Пимка тоже смотрел и думал о том, куда плывут барки и какие люди на них плывут. Акинтич один из всей деревни плавал на барке и рассказывал разные страсти о том, как неистово играет в камнях река, как бьются о скалы барки, как тонет народ. Акинтич знал решительно все на свете и называл какие-то мудреные места, куда сгоняют все барки.

— Там, брат, народ богатый живет, — объяснял он Пимке. — И все покупают, что ни привези... И лес, и железо, и медь, и белку, и рябчика — только подавай! Дома там каменные, а по реке бегут пароходы.

II

Пимке шел одиннадцатый год, когда отец сказал:

— Ну, Пимка, собирайся в курень. Пора, брат, и тебе мужиком быть.

Это было в начале зимы, когда встала зимняя дорога. Пимка был рад и вместе с тем побаивался: в курене были медведи. Он никому не

[1] Охотился.

сказал про свой страх, потому что настоящие мужики ничего не боятся. Мать еще с лета заготовила будущему мужику всю необходимую одежду: коротенький полушубок из домашней овчины, собачью «ягу»[1], пимы[2], собачьи «шубенки»[3], такой же треух, шапку, — все, как следует настоящему мужику. По зимам стояли страшные морозы, когда птица замерзала на лету, недели по две, и спасал только теплый собачий мех. Особенно доставалось углевозам, которые возили уголь в Боровской завод. Редкий не отмораживал себе щек и носа. Мать жалела Пимку и на проводинах всплакнула.

— Ты, смотри, Пимка, не застудись... В балагане будешь жить, а там вот какая стужа...

— Ничего, мамка, — весело отвечал Пимка! — Я с Акинтичем буду жить, а он все знает... Мы еще медведя с ним залобуем[4].

— Ладно, вот уши себе не отморозь.

— Мы его в кашевары поставим, — объяснял отец. — Чего ему дома-то зря, болтаться, а там дело будет делать. Тоже кошку не заставишь кашу варить... Так, Пимка? Дед тебе обрадуется... Старый да малый, — и будете жить в балагане.

— Я, тятя, ничего не боюсь.

— А чего бояться? С людьми будешь жить.

Пимке ужасно понравилась дорога в курень, которая шла все время лесом. Снег только-что выпал, и болота еще не успели замерзнуть по-настоящему. Ехали в большом угольном коробе, сплетенном дедушкой Титом из черемуховых прутьев. Старик целое лето оставался в курене, гнул березовые полозья для саней, дуги и плел коробья. Он все умел делать, что было нужно для куренной работы и для домашности: мужикам топорища, бабам — корыта и вальники, — все нужно. Лес только еще был запушен первым снегом. Дремучие ельники стояли стена-стеной, точно войско. На месте старых куреней росли осинники и березняки. Зимой они имели такой голый вид. Отец правил лошадью и время от времени говорил Пимке:

— Смотри, вон заячий след... Видишь, какие петли наделал по снежку... Ах, прокурат... Такие узоры поведет, что и не распутаешь. А вон лиса прошла... Эта, как барыня, идет и след хвостом заметает.

---

[1] Шуба, шерстью наружу.
[2] Валенки.
[3] Рукавицы.
[4] Залобовать — убить.

В одном месте Егор остановил лошадь, долго рассматривал след и объяснял:

— Волчья стая прошла... Они, брат, как солдаты, шаг в шаг ступают. Прошла стая, а след точно от одного... Наш лесной волк не страшен, потому как везде ему по лесу пища: зайца поймает, рябчиком закусит, а то и целого глухаря раздобудет. Смышлястый зверь...

В другом месте Егор показал Пимке большой след. На молодом снегу отпечатались точно коровьи копыта.

— Это зверь сохатый прошел... Вон как отмахивал. В самый бы раз нашему солдату его залобовать. Весь бы курень был сыт, а кожу продал бы в заводе. Надо будет ему сказать, пусть его по следу ищет.

В курень приехали уже ночью. Было совсем темно, и Пимка задремал, свернувшись калачиком на дне короба. Место куреня можно было заметить издали по зареву, которое поднималось над горевшими «кучонками», то-есть кучами из длинных дров долготья, обложенными сверху дерном. Немного в стороне стояли четыре балагана. Егор подъехал к тому, в котором жил дедушка Тит.

Еще издали гостей встретила лаем пестрая собака Лыско, которая очень сконфузилась, когда узнала свою лошадь. На лай из всех балаганов показались мужики.

— Это ты, Егор?

— Верно, я... Вот я вам какого зверя привез. Пимка, вылезай.

Выскочил из балагана Акинтич и вытащил Пимку, который никак не мог проснуться. Когда Акинтич его встряхнул, Пимке показалось очень холодно. В балагане сидел дедушка Тит и наблюдал за кипевшим на очаге из камней железным котелком, в котором варилась просяная каша на ужин. Увидав внука, старик обрадовался.

— Ну, ну, садись, гость будешь, — говорил он. — Что — озяб?.. Погоди, вот поешь каши и согреешься.

Балаган представлял собою большую низкую избу без окон и без трубы. Заднюю половину занимали сплошные полати на старых еловых пнях. Налево от низенькой двери, в углу, был устроен из больших камней очаг. Вместо трубы на крыше чернела дыра, и дым расстилался по всему балагану, так что стоять было невозможно, и Пимка сейчас же закашлялся, наглотавшись дыма. Потолок и стены были покрыты сажей.

— Что, не понравилось наше угощение? — шутил Акинтич. — А ты пока садись на пол, Пимка, вот к дедушке...



Пимка был совершенно счастлив. Мужики были все свои, шалайские и он знал всех в лицо.

Старый Тит ужасно был рад внучку и посадил его рядом с собой на обрубок бревна. Старику было под восемьдесят, и его седая борода превратилась в желтую, но он еще держался крепко, а в работе, пожалуй, не уступал и молодым мужикам. Только, к несчастью у дедушки Тита начинала болеть спина и тосковали застуженные ноги.

— Вот тебе, дедушка, и помощник, — галдели набравшиеся в балаган мужики. — Он, брат, этот самый Пимка, ежели до каши, так первый работник...

Все дроворубы и углежоги, благодаря жизни в курных балаганах, походили на трубочистов. Все равно, мойся, не мойся, а от дыма и сажи не убережешься. Теперь все были рады новому человеку и шутил над малышом, как кто мог придумать. Пимка был совершенно счастлив. Мужики были все свои шалайские, и он всех знал в лицо. Отец Пимки привез из деревни всякой всячины и теперь делил — кому хлеба, кому шубу, кому новый топор, кому приварок ко щам, кому новую рубаху.

Пимка наелся горячей каши с таким удовольствием, как никогда не едал, и тут же уснул, сидя на обрубке около деда.

— Ну, надо малыша на перину укладывать, — шутил Акинтич, устраивая на нарах для Пимки постель из сена. — Вот мы тут зеленого пуху настелем, — спи только.

Сонного Пимку Акинтич перенес на руках, уложил на нарах и прикрыл своей ягой.

— Ишь ты, как малыша сон-то забрал! — удивлялись мужики. — Это он намерзся дорогой-то, да прямо в тепло попал, ну, и разомлел...

Один по одному мужики разошлись из балагана деда Тита. Утром всем надо было рано вставать.

Утром на другой день Пимка проснулся рано, проснулся от страшного холода. В балагане было тепло, пока горел огонь в очаге; а только огонь гас, — все тепло уходило частью кверху, в дымовую дыру, частью — в плохо сколоченную дверь.

Плохо было то, что приходилось выжидать, пока огонь прогорит до тла и выйдет дым; потом уже дедушка Тит поднимался на крышу и прикрывал дымовую дыру еловой корой, а сверху заваливал хвоей. В балагане было или страшно жарко, или страшно холодно.

Работа в курене уже кипела, когда Пимка вышел из балагана. Дедушка Тит у самого балагана налаживал новые дровни. Где-то в лесу трещали топоры, рубившие застывшее дерево, а на свежей поруби сильно дымили до десятка кучонков. Это были кучи больше сажени в высо-

ту и шириной до трех сажен. Внутри уложены были дрова стоймя и горели медленным огнем, вернее — не горели, а медленно тлели. Весь секрет состоял в том, чтобы дерево не истлело совсем, а получился крепкий уголь. Такой кучонок горел недели две, пока не превращались в уголь все дрова.

У каждого кучонка был свой «жигаль», который должен был следить за всем. Вся работа пропадала, если огонь где-нибудь пробивался сквозь дерн, и тогда весь уголь сгорал. «Жигали» не отходили от своих кучонков ни днем, ни ночью. Это была самая трудная и ответственная работа. Дроворуб ничем не рисковал и углевоз тоже, а «жигаль» отвечал за все. В «жигали» поступали самые опытные рабочие. Издали эти кучонки походили на громадные муравейники, с той разницей, что последние не дымятся, а от кучонков валил день и ночь густой дым. Выгоревший кучонок должен был еще долго отдыхать, пока окончательно не остынет весь уголь. Дедушка Тит «ходил в жигалях» лет сорок, а теперь его заменил его сын Егор. Куренные мужики на этом основании сразу прозвали Пимку «Жигаленком».

В первый же день Пимка освоился со всеми порядками куренной жизни. Вставали до свету, закусывали, а потом шли на работу до обеда. После обеда немного отдыхали и потом работали, пока было светло. Работа была тяжелая у всех, и ее выносили только привычные люди. Дроворубы возвращались в балаган как пьяные, — до того они выматывали себе руки и спину. Углевозы маялись дорогой, особенно в морозы, когда холодом жгло лицо. А всего хуже было жить в курных, всегда темных балаганах, да и еда была самая плохая: черный хлеб да что-нибудь горячее в придачу, большею частью каша. Где мужикам стряпню разводить!

— Уж и жизнь, — ворчал солдат Акинтич, отвыкший за время своей солдатчины от тяжелой куренной работы. — Брошу все и уйду, куда глаза глядят. Главная причина, что нет бани... Весь точно из трубы сейчас вылез!

Все куренные мечтали о бане и завидовали каждому, кто отправлялся в деревню: поехал, значит и в бане побывает. Ездили по очереди, а в целую зиму другому придется побывать всего два раза.

Пимка прожил всего несколько дней в курене, и его страшно потянуло домой. Очень уж тяжело было жить в лесу, и мальчик совершенно был согласен с дядей Акинтичем, что надо отсюда уходить, куда глаза глядят. Пимка даже всплакнул потихоньку ото всех.

III

Самое тяжелое время были праздники. Конечно, можно было съездить в Шалайку, «на обыденку», но все жалели маять напрасно лошадей. Взад и вперед нужно было сделать верст шестьдесят, да еще плохой лесной дорогой. В праздник все убивали время как-нибудь. Сидеть днем по темным балаганам было тошно, и все собирались «на улице». Разведут большой костер, рассядутся кругом и балагурят. Первым человеком на этих беседах, конечно, был Акинтич, которого солдатом гоняли до Москвы. Все остальные дальше Боровского завода не бывали. Акинтич и сам любил рассказывать разную побывальщинку.

— Ты только, пожалуйста, не ври, солдат, — упрашивали куренные мужики.

— Чего мне врать-то? Вы ничего не видели, вот вам и кажется, что все удивительно. Возьмите теперь хоть пароход — во какая махинища! Народу на ем едет человек с тыщу, а он еще с собой не одну барку волокет. Всю Шалайку свезет за раз... А то теперь чугунка. Ну, та еще мудренее: как свистнет — и полетела. Тоже волокет народу видимо невидимо и кладь всякую. Сидишь себе, как в избе, и в окошко поглядываешь, тоже, как в избе. Не успел оглянуться, а она уж опять свистнула, — значит, приехали. Теперь вот ежели бы до Боровского завода наладить чугунку, — в один бы час с куреня махнули туда, а теперь вы с углем ползете все шесть часов да сколько дорогой намаетесь.

— Ах, солдат, врешь!

— Ну, как же я с вами разговаривать буду, ежели вы ничего не понимаете?

И Пимке тоже казалось, что солдат врет, особенно, когда рассказывает, как живут в разных городах. Пимке казалось, что все люди должны рубить дрова и делать уголь, а тут вдруг каменные дома, каменные церкви, пароходы, чугунки и прочие чудеса. Куренные мужики иногда, для шутки, начинали высмеивать солдата.

— Может, ты, солдат, и по небу летал? Чего тебе стоит соврать-то?

Акинтич свирепел и начинал ругаться. Он ужасно смешно сердился; и все хохотали.

— Уйду я от вас, вот и конец тому делу! Надоело мне с вами в темноте жить... Уйду в город и поступлю дворником к купцу. Работа самая легкая подмел двор, принес дров, почистил лошадь — вот и все.

В баню хоть каждый день ходи... Одежда на тебе вся чистая, а еда — доотвалу. Щти подадут, — ложка стоит, точно гвоздь в стену заколотил. А главное дело — чай... Уж так я, братцы, этот самый чай люблю, и не выговоришь.

— Да он с чем варится, чай-то?

— Трава такая... китайская...

— Может, крупы там или говядины прибавляют?

— И что я только буду с вами делать? Ну, как есть ничего не понимает народ. Одним словом, с сахаром чай пьют! Поняли теперь? Да, нет, куда вам... Тоже вот взять лампу, — вы и не видывали, вещь первая. В Шалайке-то с лучиной сидим, а добрые люди с лампой. Значит, ну, по-вашему, — плошка такая стеклянная, в ей масло такое налито, керазин называется, ну, фитилек спущен, по-вашему — светильня; ну сейчас спичкой, — и огонь! А главная причина — можно свет-то прибавлять и убавлять, не то что в свече сальной... Поняли теперь?

— Грешно все это... — говорил дедушка Тит. — Напьюсь это я твоего чаю, наемся штей да каши, поеду я на чугунке али на пароходе, а кто же работать-то будет? Я побегу от черной работы, ты побежишь, за нами ударится Пимка и вся Шалайка, ну, а кто уголья жечь будет?

— И угольев ваших никому не нужно, дедушка, — говорил солдат. — Есть каменный уголь. Из земли прямо добывают.

— Кто его для тебя наклал в землю-то? Ах, солдат, солдат... Тоже и придумает.

Дедушка Тит недолюбливал Акинтича за легкомыслие, а главным образом за то, что избаловался он на службе и очень уж любил про легкую жизнь рассказывать. Совсем отбился человек от настоящей мужицкой работы. Старик часто ссорился с Акинтичем из-за его солдатской трубочки и который раз выгонял его из балагана. В Шалайке никто не курил табаку. Куренные мужики пользовались этим и наговаривали деду на солдата.

— Дедушка, солдат сказывает, что в городе все трубки курят, да еще и нос табаком набьют.

— Тьфу!.. Врет он все... — не верил дед. — Работать не хотят, вот главная причина, а того не знают, что труд надо любить. Какой же я есть человек, ежели не стану работать? Всякая тварь работает по-своему, потому и гнездо надо устроить, и своих детенышей прокормить.

— И в городах трудятся по-своему, дедушка, — объяснял солдат. — Только там работа чище вашей... Не меньше нас работают, а может и

больше. Не всем уголья жечь, а надо и всякое ремесло производить. Кто ситца, кто сукна, кто сапоги, кто замок мастерит.

— И все это пустое! — сказал дед. — Раньше без ситцев жили, а сукно бабы дома ткали. Все это пустое. Главный же мастер все-таки мужичок, который хлебушко сеет. Вот без хлеба не проживешь, а остальное все пустое баловство...

Пимка постоянно думал о том, как живут другие люди на белом свете. Хоть бы одним глазком посмотреть... Может быть, солдат-то и не врет. Вот он рассказывает, что есть места, где зимы не бывает, и что своими глазами видел самого большого зверя — слона, который ростом будет с хорошую баню.

Это детское любопытство разрешилось небывалым случаем.

Раз весь курень спал мертвым сном. Стоял страшный мороз и даже собаки забились в балаганы.

Вдруг среди ночи Лыско сердито заворчал. У него было свое ворчание на зверя и свое — на человека, — теперь он ворчал на человека.

Скоро послышались громкие голоса: это была партия железнодорожных инженеров, делавшая изыскание нового пути для новой линии железной дороги. Всех было человек десять: два инженера, их помощники, просто мужики и вожак. Последний сбился с дороги и вывел партию вместо Шалайки на курень.

Солдат Акинтич выскочил горошком и пригласил набольшего в свой балаган:

— Ваше высокоблагородие, милости просим. Сейчас огонек разведем, в котелке воды согреем. Вы уж извините нас, ваше высокоблагородие.

Пимка в первый раз еще видел чужестранных людей и рассматривал их с удивлением маленького дикаря. Его поразила та угодливость, с какой Акинтич ухаживал за гостями и на каждом шагу извинялся. Набольший барин все-таки сердился, сердился на все: и на то, что все в балагане было покрыто сажей, и на дымивший очаг, и на заблудившегося вожака, и даже на трещавший в лесу мороз.

— Действительно, ваше высокоблагородие, оно того, значит, дым, — наговаривал Акинтич, — и опять, того, страшный мороз... Вы уж извините, потому как живем в лесу и ничего не знаем, ваше высокоблагородие.

— Ты из солдат? — спрашивал набольший.

— Точно так-с, ваше высокоблагородие... В Москве бывал. Да... А здесь, уж извините, — одним словом, лес и никакого понятия.

Пимка увидел, как и чай пьют господа, и как закусывают по-своему, и как папиросы курят. Он даже попробовал сам чаю, то-есть съел несколько листочков и убедился, что солдат не врал. Ничего сладкого, а так трава как трава, только черная.

Рано утром партия отправилась дальше. Теперь ее уж повел Акинтич, не знавший, чем угодить господам.

— Ишь, точно змей извивается... — ворчал дедушка Тит, качая головой. — Ах, солдат, солдат, всех он нас продаст!

А набольший все утро ворчал: и в балагане холодно, и вода в котле чем-то воняет, и собаки ночью лаяли, — всем недоволен.

Пимка стоял с разинутым ртом и все боялся, как бы набольший не треснул его чем. Однако все прошло благополучно.

Когда гости уехали, на курене вдруг точно пусто сделалось. Тихо-тихо так.

Все куренные сбились в одну кучу и долго переговаривались относительно уехавших.

— Ах, все это солдат наворожил! — говорил отец Пимки, почесывая в затылке. — Чугунка, чугунка, а она сама и приехала к нам.

Мужики долго соображали, хорошо это будет или худо, когда через их лес наладят чугунку.

— И для чего она нам, эта чугунка? — ворчал дедушка Тит. — Так, баловство одно; а может и грешно... Ох, помирать, видно, пора!

Ровно через три года, немного пониже Шалайки, через Чусовую, железным кружевом перекинулся железнодорожный мост, а солдат Акинтич определился к нему сторожем. У него теперь были и своя будка, и самовар, и новая трубка. Акинтич был счастлив. Вся Шалайка сбежалась смотреть, когда ждали первого поезда новой чугунки. Приплелся и старый дед Тит. Старик больше не ездил на курень, потому что прихварывал. Он долго смотрел на Акинтича, который расхаживал около своей будки с зеленым флагом в руках, и, наконец, сказал:

— Самое это тебе настоящее место, Акинтич. Работы никакой, а жалованье будешь огребать.

Пимка весь замер, когда вдали послышался гул первого поезда. Скоро из-за горы он выполз железной змеей, и раздался первый свисток, навсегда нарушивший покой этой лесной глуши. Акинтич по-солдатски вытянулся в струнку и, поднимая свой флаг, крикнул первому поезду:

— Здравия желаем!

Богач и Еремка

I

— Еремка, сегодня будет пожива, — сказал старый Богач, прислушиваясь к завывавшему в трубе ветру. — Вон какая погода разыгралась.

Еремкой звали собаку, потому что она когда-то жила у охотника Еремы. Какой она была породы, — трудно сказать, хотя на обыкновенную деревенскую дворняжку и не походила. Высока на ногах, лобаста, морда острая, с большими глазами. К Богачу она попала еще щенком и потом оказалась необыкновенно умной.

Богач был высокого роста, сутуловат, с большой головой и длинными руками, и весь какой-то серый. Он всю жизнь прожил бобылем. В молодости он был деревенским пастухом, а потом сделался сторожем. Последнее занятие ему нравилось больше всего. Летом и зимой он караулил сады и огороды. Чего же лучше: своя избушка, где всегда тепло; сыт, одет, и еще кое-какая прибыль навертывалась. Богач умел починять ведра, ушаты, кадочки, мастерил бабам коромысла, плел корзины и лапти, вырезывал из дерева ребятам игрушки. Богачом его почему-то назвали еще с детства, и эта кличка осталась на всю жизнь.

Снежная буря разыгралась. Несколько дней уже стояли морозы, а вчера оттеплело, и начал падать мягкий снежок, который у охотников называется «порошей». Начинавшую промерзать землю порошило молодым снежком. Поднявшийся к ночи ветер начал заметать канавы, ямы, ложбинки.

— Ну, Еремка, будет нам сегодня с тобою пожива... — повторил Богач, поглядывая в маленькое оконце своей сторожки.

Собака лежала на полу, положив голову между передних лап, и в ответ слегка вильнула хвостом. Она понимала каждое слово своего хозяина.

Было уже часов девять вечера. Ветер то стихал, то поднимался с новой силой. Богач, не торопясь, начал одеваться. В такую погоду неприятно выходить из теплой сторожки; но ничего не поделаешь, если уж такая служба. Он считал себя чем-то вроде чиновника над всеми зверями, птицами и насекомыми нападавшими на сады, огороды. Он воевал с капустным червем, с разными гусеницами, портившими фруктовые деревья, с воробьями, галками, скворцами, с дроздами-рябинниками, с полевыми мышами, кротами и зайцами. И земля и воздух были наполнены врагами, хотя большинство на зиму умирало или засыпало по своим норам и логовицам. Оставался только один враг, с которым приходилось Богачу воевать, главным образом, именно зимой. Это были зайцы.

— Как поглядеть, так один страх в ем, в зайце, — рассуждал Богач, продолжая одеваться. — А самый вредный зверь... Так, Еремка? И хитрый-прехитрый... А погода-то как разгулялась: так и метет. Это ему, косому, самое первое удовольствие...

Нахлобучив шапку из заячьего меха, Богач взял длинную палку и сунул за голенище валенок, на всякий случай, нож. Еремка сильно потягивался и зевал. Ему тоже не хотелось итти из теплой избушки на холод.

Сторожка стояла в углу громадного фруктового сада. Сейчас за садом начинался крутой спуск к реке, а за рекой синел небольшой лесок, где главным образом гнездились зайцы. Зимой зайцам нечего было есть, и они перебегали через реку к селенью. Самым любимым местом для них были гумна, окруженные хлебными кладями. Здесь они кормились, подбирая упавшие со стогов колосья, а иногда забирались и в самые клади, где было для них настоящее раздолье, хотя и не без опасности. Но всего больше нравилось зайцам лакомиться в фруктовых садах молодыми саженцами и побегами яблонь, слив и вишни. Ведь у них такая нежная и вкусная кора, не то, что на осине или других деревьях. В один удачный набег зайцы портили иногда целый сад, несмотря на все предосторожности. Только один Богач умел с ними справляться, потому что отлично знал все их повадки и хитрости.

Много помогал старику Еремка, издали чуявший врага. Вдвоем Богач и Еремка много ловили каждую зиму зайцев. Старик устраивал на них западни, капканы и разные хитрые петли, а Еремка брал прямо зубом.

Выйдя из избушки, Богач только покачал головой. Очень уж разыгралась погода и засыпала снегом все его ловушки.

— Видно, придется тебе, Еремка, итти под гору... — говорил Богач смотревшей на него собаке. — А я вот пойду по загуменьям да на тебя и погоню зайцев. Понял? То-то.

Еремка в ответ только слабо взвизгнул. Ловить зайцев под горой было для него самым большим удовольствием. Дело происходило так. Зайцы, чтобы попасть на гумна, пробегали из-за реки и поднимались на гору. Обратный путь для них уже шел под гору. А известно, что заяц тихо бежит в гору, а под гору, в случае опасности, скатывается кубарем. Еремка прятался под горой и ловил зайца именно в это время, когда заяц ничего не видел.

Еремка повилял хвостом и медленно пошел к селенью, чтобы оттуда уже спуститься под гору. Умная собака не хотела пересекать заячью тропу. Зайцы отлично понимали, что значат следы собачьих лап на их дороге.

— Экая погода-то, подумаешь!.. — ворчал Богач, шагая по снегу в противоположную сторону, чтобы обойти гумна.

Ветер так и гулял, разметая кругом облака крутившегося снега. Даже дыхание захватывало. По пути Богач осмотрел несколько занесенных снегом ловушек и настороженных петель. Снег засыпал все его хитрости.

— Ишь ты, какая причина вышла, — ворчал старик, с трудом вытаскивая из снега ноги. — В такую непогодь и зайцы по своим логовищам лежат... Только вот голод-то не тетка: день полежит, другой полежит, а на третий и пойдет промышлять себе пропитание. Он, хоть и заяц, а брюхо-то — не зеркало...

Богач прошел половину дороги и страшно устал. Даже в испарину бросило. Ежели бы не Еремка, который будет ждать его под горой, старик вернулся бы в свою избушку. Ну их, зайцев, никуда не денутся. Можно и в другой раз охоту устроить. Вот только перед Еремкой совестно: обмани его один раз, а в другой он и сам не пойдет. Пес умный и прегордый, хоть и пес... Теперь он уже залег под горкой и ждет зайцев.

Придя на гумна, Богач начал «гон» зайцев. Он подходил к гумну и стучал палкой по столбам, хлопал в ладоши и как-то особенно фыркал, точно загнанная лошадь. В первых двух гумнах никого не было, а из третьего быстро мелькнули две заячьих тени.

— Ага, косая команда, не любишь!.. — торжествовал старик, продолжая свой обход.

Богач обошел гумна и начал спускаться с горы к реке. Его удивило, что Еремка всегда выбегал к нему навстречу, а теперь стоял как-то виновато на одном месте и, очевидно, поджидал его.

— Еремка, да что ты делаешь?

Собака слабо взвизгнула. Перед ней на снегу лежал на спине молоденький зайчик и бессильно болтал лапками.

— Бери его!.. Кусь!.. — закричал Богач.

Еремка не двигался. Подбежав близко, Богач понял в чем дело: молоденький зайчонок лежал с перешибленной передней лапой. Богач остановился, снял шапку и проговорил:

— Вот так штука, Еремка!.. Эк тебя угораздило, братец ты мой!.. А? — удивлялся Богач, нагибаясь, чтобы получше рассмотреть беззащитного зайчишку. — И совсем еще молоденький!..

Заяц лежал на спинке и, повидимому, оставил всякую мысль о спасении. Богач ощупал перешибленную ногу и покачал головой.

— Ну и оказия! Еремка, что мы с ним делать-то будем? Прирезать, што ли, чтобы понапрасну не маялся.

Но и прирезать было как-то жаль. Уж если Еремка не взял зубом калеку, посовестился, так, ему, Богачу, подавно совестно беззащитную тварь убивать. Другое дело, если бы он в ловушку попал, а то больной зайчишка, — и только.

Еремка смотрел на хозяина и вопросительно взвизгивал. Дескать, надо что-нибудь делать...

— Эге, мы вот что с ним сделаем, Еремка: возьмем его к себе в избушку... Куда он хромой-то денется? Первый волк его съест...

Богач взял зайца на руки и пошел в гору. Еремка шел за ним, опустив хвост.

— Вот тебе и добыча... — ворчал старик... — Откроем с Еремкой заячий лазарет... Ах, ты, оказия!..

Когда пришли в избу, Богач положил зайца на лавку и сделал перевязку сломанной лапки. Он, когда был пастухом, научился делать такие перевязки ягнятам.

Еремка внимательно следил за работой хозяина, несколько раз подходил к зайцу, обнюхивал его и отходил.

— А ты его не пугай... — объяснял ему Богач. — Вот привыкнет, тогда и обнюхивай.

Больной зайчик лежал неподвижно. Он был такой беленький и чистенький, только кончики ушей точно были выкрашены черной краской.

— А ведь надо его покормить, беднягу... — думал вслух Богач.

Но заяц упорно отказывался есть и пить.

— Это он со страху, — объяснил Богач. — Уж завтра добуду ему свежей морковки да молочка...

В углу под лавкой Богач устроил зайцу из разного тряпья мягкое и теплое гнездо и перенес его туда.

— Ты у меня, Еремка, смотри, не пугай его... — уговаривал он собаку, грозя пальцем. — Понимаешь, хворый он...

Еремка, вместо ответа, подошел к зайцу и лизнул его.

— Ну, вот так, Еремка... значит, не будешь обижать? Так, так... Ведь ты у меня умный пес, только вот сказать не умеешь. С нас будет и здоровых зайцев.

Ночью Богачу плохо спалось. Он все прислушивался, не крадется ли к зайцу Еремка. Хоть и умный пес, а все-таки пес, и полагаться на него нельзя. Как-раз сцапает...

«Ах, ты, оказия, — думал Богач, ворочаясь с боку на бок. — Уж, кажется, достаточно нагляделся на зайцев... Не одну сотню их переколотил, вот этого жаль. Совсем ведь глупый еще... несмышленыш...»

Просыпался Богач по-стариковски ранним утром, затоплял печь и приставлял к огню какое-нибудь варево — похлебку, старых щец, кашку-размазню. Сегодня было, как всегда. Заяц лежал в своем уголке неподвижно, точно мертвый, и не притронулся к еде, как его Богач ни угощал.

— Ишь ты, какой важный барин, — корил его старик. — А ты вот попробуй кашки гречушной, — лапка-то и срастется. Право, глупый... У меня кашу-то и Еремка вот как уплетает, за ушами пищит.

Богач прибрал свою избушку, закусил и пошел в деревню.

— Ты у меня смотри, Еремка, — наказывал он Еремке. — Я-то скоро вернусь, а ты зайца не пугай...

Пока старик ходил, Еремка не тронул зайца, а только съел у него все угощение, — корочки черного хлеба, кашу и молоко. В благодарность он лизнул зайца прямо в мордочку и принес в награду из свое-

го угла старую обглоданную кость. Когда Богач вернулся, он только покачал головой: какой хитрый зайчишка — когда угощают, так и не смотрит, а когда ушли, так все до тла поел.

— Ну, и лукавец! — удивлялся старик. — А я тебе гостинца принес, косому плуту...

Он достал из-за пазухи несколько морковок, пару кочерыжек, репу и свеклу.

Еремка лежал на своем месте, как ни в чем не бывало; но когда он облизнулся, вспомнив съеденное у зайца угощение, Богач понял его коварство и принялся его журить:

— И не стыдно тебе, старому плуту... а?! Что, не едал ты каши? Ах, ненасытная утроба...

Когда старик увидел валявшуюся перед зайцем кость, он не мог удержаться от смеха. Вот так Еремка, тоже сумел угостить... Да не хитрый ли плутище!..

Заяц отдохнул за ночь и перестал бояться. Когда Богач дал ему морковку, он с жадностью ее съел.

— Эге, брат, вот так-то лучше будет!.. Это, видно, не еремкина голая кость... Будет чваниться-то. Ну-ка, еще репку попробуй...

И репка была съедена с тем же аппетитом.

— Да ты у меня совсем молодец!.. — хвалил старик.

Когда совсем рассветало, в дверь послышался стук, и тоненький детский голосок проговорил:

— Дедушка, отопри... Смерть как замерзла...

Богач отворил тяжелую дверь и впустил в избушку девочку лет семи. Она была в громадных валенках, в материнской кацавейке и закутана рваным платком.

— Ах, это ты, Ксюша... Здравствуй, птаха!

— Мамка послала тебе молочка... не тебе, а зайцу...

— Спасибо, красавица...

Он взял из покрасневших на морозе детских ручонок небольшую крынку молока и поставил ее бережно на стол.

— Ну, вот мы и с праздником... А ты, Ксюша, погрейся. Замерзла?

— Студено...

— Давай, раздевайся. Гостья будешь... Зайчика пришла посмотреть?

— А то как же...

— Неужто не видала?

— Как не видать... Только я-то видала летних зайцев, когда они серые, а этот совсем белый у тебя.

Ксюша разделась.

Это была самая обыкновенная деревенская белоголовая девочка, загорелая, с тоненькой шейкой, с тоненькой косичкой и тоненькими ручками и ножками, одетая в сарафан. Чтобы согреться, Ксюша попрыгала на одной ноге, грела дыханием окоченевшие ручонки и только потом подошла к зайчику.

— Ах, какой хорошенький зайчик, дедушка... Беленький весь, а только ушки точно оторочены черным.

— Это уж по зиме все такие зайцы, беляки, бывают...

Девочка села около зайчика и погладила его по спинке.

— А что у него ножка завязана тряпочкой, дедушка?

— Сломана лапка, вот я и завязал ее, чтобы все косточки срослись.

— Дедушка, а ему больно было?

— Известно, больно...

— Дедушка, а заживет лапка?

— Заживет, ежели он будет смирно лежать... Да он и лежит, не ворохнется. Значит, умный!

— Дедушка, а как его зовут?

— Зайца-то? Ну, заяц и есть заяц, — вот и все название.

— Дедушка, то другие зайцы, которые здоровые в поле бегают, а этот хроменький... Вон у нас кошку Машкой зовут.

Богач задумался. В самом деле, надо как-нибудь назвать, а то зайцев-то много...

— Ну, Ксюша, так как его мы назовем... а?

— Черное Ушко...

— Верно!.. Ах, ты, умница...

Весть о хромом зайце успела облететь всю деревню, и скоро около избушки Богача собралась целая толпа любопытных деревенских ребят.

— Дедушка, покажи зайчика! — просили.

Богач даже рассердился. Всех пускать зараз нельзя, не поместятся в избе, а по одному пускать — выстудят всю избу.

Старик вышел на крылечко и сказал:

— Невозможно мне показывать вам зайца, потому он хворый... Вот поправится, тогда и приходите, а теперь ступайте домой.

II

Через две недели Черное Ушко совсем выздоровел. Молодые косточки скоро срастаются. Он уже никого не боялся и весело прыгал по всей избе. Особенно ему хотелось вырваться на волю, и он сторожил каждый раз, когда открывалась дверь.

— Нет, брат, мы тебя не пустим, — говорил ему Богач. — Чего тебе на холоде мерзнуть да голодать... Живи с нами, а весной ступай себе в поле. Только нам с Еремкой не попадайся.

Еремка, очевидно, думал то же самое. Он ложился у самой двери и, когда Черное Ушко хотел перепрыгнуть через него, скалил свои белые зубы и рычал. Впрочем, заяц его совсем не боялся и даже заигрывал с ним. Богач смеялся до слез над ними. Еремка растянется на полу во весь рост, закроет глаза, будто спит, а Черное Ушко начинает прыгать через него. Вскоре Еремка тоже увлекался игрой и начинал гоняться по избе за зайцем, раскрыв пасть и высунув язык. Но заяц ловко увертывался от него.

— Что, брат, Еремка, не можешь его догнать? — подсмеивался над собакой старик. — Где тебе, старому... Только лапы понапрасну отобьешь.

Деревенские ребята частенько прибегали в избушку Богача, чтобы поиграть с зайчиком, и приносили ему что-нибудь из съестного. Кто тащит репку, кто морковку, кто свеклу или картошки. Черное Ушко принимал эти дары с благодарностью и тут же их съедал с жадностью. Ухватит передними лапками морковку, припадет к ней головой и быстро-быстро обгрызет, точно обточит. Он отличался большой прожорливостью, так что даже Богач удивлялся:

— И в которое место он ест такую прорву... Не велика скотинка, а все бы ел, сколько ему ни дай.

Чаще других бывала Ксюша. Черное Ушко отлично ее знал, сам бежал к ней и любил спать у нее на коленях. Но он же и отплатил ей самой черной неблагодарностью. Раз, когда Ксюша уходила домой, Черное Ушко с быстротой молнии шмыгнул в дверях около ее ног, — и был таков. Еремка сообразил, в чем дело и бросился в погоню.

— Как же, ищи ветра в поле... — посмеялся над ним Богач. — Он похитрее тебя будет... А ты, Ксюша, не реви. Пусть он побегает, потом сам вернется. Куда ему деться?

— Наши деревенские собаки его разорвут, дедушка...

— Так он и побежал тебе в деревню... Он прямо махнул за реку, к своим. Так и так, мол, жив и здоров, имею собственную квартиру и содержание. Побегает, поиграет и назад придет, когда есть захочет. А Еремка-то, глупый, бросился его ловить... Ах, глупый пес!..

Ксюша все-таки ушла домой со слезами, да и сам старый Богач мало верил тому, что говорил. И собаки по дороге могут разорвать, и у себя дома лучше покажется. А тут еще Еремка вернулся домой — усталый, виноватый, с опущенным хвостом. Старому Богачу сделалось даже жутко, когда наступил вечер. А вдруг Черное Ушко не придет...

Еремка лег у самой двери и прислушивался к каждому шороху. Он тоже ждал. Обыкновенно Богач разговаривал с собакой, а тут молчал. Они понимали друг друга без слов.

Наступил вечер. Богач засиделся за работой дольше обыкновенного. Когда он уже хотел ложиться спать на свою печь, Еремка радостно взвизгнул и бросился к двери.

— Ах, косой вернулся из гостей домой...

Это был, действительно, он, Черное Ушко. С порога он прямо бросился к своей чашке и принялся пить молочко, потом съел кочерыжки и две морковки.

— Что, брат, в гостях-то плохо тебя угощали? — говорил Богач, улыбаясь. — Ах, ты, бесстыдник, бесстыдник...

Еремка все время стоял около зайца и ласково помахивал хвостом. Когда Черное Ушко съел все, что было в чашке, Еремка облизал ему морду и начал искать блох.

— Ах, вы, озорники! — смеялся Богач, укладываясь на печи. — Видно, правду пословица говорит: вместе тесно, а врозь скучно...

Ксюша прибежала на другое утро чем свет и долго целовала Черное Ушко.

— Ах, ты, бегун скверный... — журила она его. — Вперед не бегай, а то собаки разорвут. Слышишь, глупый? Дедушка, а ведь он все понимает...

— Еще бы не понимать, — согласился Богач, — не бойсь, вот как знает, где его кормят...

После этого случая за Черным Ушком уж не следили. Пусть его убегает поиграть, побегать по снежку. На то он и заяц, чтобы бегать. Месяца через два Черное Ушко совсем изменился: вырос и потолстел, и шерсть на нем начала лосниться. Он, вообще, доставлял

много удовольствия своими шалостями и веселым характером, и Богачу казалось, что и зима нынче как-то скорее прошла.

Одно только было нехорошо. Охота на зайцев давала Богачу порядочный заработок. За каждого зайца он получал по четвертаку. В зиму Богач убивал штук сто. А теперь выходило так, будто и совестно перед Черным Ушком губить глупых зайцев. Вечером Богач и Еремка уходили на охоту крадучись, и никогда не вносили в избу убитых зайцев, как прежде, а прятали их в сенях. Даже Еремка это понимал, когда в награду за охоту получал заячьи внутренности, то уносил их куда-нибудь подальше от сторожки и съедал потихоньку.

Наступил март.

По утрам крыши обрастали блестящей бахромой из ледяных сосулек. Показались первые проталинки. Почки на деревьях начали бухнуть и наливаться. Прилетели первые грачи. Все кругом обновлялось к наступающему лету, как к празднику. Один Черное Ушко был не весел. Он начал пропадать из дому все чаще и чаще, похудел, перестал играть, а вернется домой, наестся и целый день спит в своем гнезде под лавкой.

— Это он линяет, ну вот ему и скучно, — объяснял Богач. — По весне-то зайцев не бьют по этому самому!.. Мясо у него тощее, шкура, как молью подбита. Одним словом, как есть ничего не стоит...

Действительно. Черное Ушко начал менять свою зимнюю белую шубку на летнюю, серую. Спинка сделалась уже серой, уши, лапки тоже, и только брюшко оставалось белым. Он любил выходить на солнышко и подолгу грелся на завалинке.

Раз прибежала Ксюша проведать своего любимца, но его не было дома уже целых три дня.

— Теперь ему и в лесу хорошо, вот и ушел, пострел, — объяснял Богач пригорюнившейся девочке. — Теперь зайцы почку едят, ну, а на проталинах и зеленую травку ущипнет. Вот ему и любопытно...

Еремка вертелся около Ксюши и лаял на опустевшее заячье гнездо.

— Это он тебе жалуется, — объяснял Богач. — Хотя и пес, а все-таки обидно... Всех нас обидел, пострел.

— Он недобрый, дедушка... — говорила Ксюша со слезами на глазах.

— Зачем недобрый? Просто заяц и больше ничего. Лето погуляет, пока еда в лесу есть, а к зиме, когда нечего будет есть, и вернется сам... Вот увидишь. Одним словом, заяц...

Черное Ушко пришел еще раз, но к самой сторожке не подошел, а сел пеньком и смотрит издали. Еремка подбежал к нему, лизнул в



Девочка села возле зайчика и погладила его по спине.

морду, повизжал, точно приглашая в гости, но Черное Ушко не пошел. Богач поманил его, но он оставался на своем месте и не двигался.

— Ах, пострел! — ворчал старик. — Ишь, сразу зазнался, косой...

III

Прошла весна. Наступило лето. Черное Ушко не показывался. Богач даже рассердился на него:

— Ведь мог бы как-нибудь забежать на минутку... Кажется, немного дела и время найдется.

Прошло и лето. Наступила осень. Начались заморозки. Перепадал первый мягкий, как пух, снежок. Черное Ушко не показывался.

— Придет косой... — утешал Богач Еремку. — Вот погоди: как занесет все снегом, нечего будет есть, ну, и придет. Верно тебе говорю...

Но выпал и первый снег, а Черное Ушко не показывался. Богачу сделалось даже скучно.

Однажды утром Богач что-то мастерил около своей избушки, как вдруг послышался далекий шум, а потом выстрелы. Еремка насторожился и жалобно взвизгнул.

— Батюшки, да ведь это охотники поехали стрелять зайцев! — проговорил Богач, прислушиваясь к выстрелам, доносившимся с того берега реки. — Так и есть... Ишь, как запаливают... Ох, убьют они Черное Ушко! Непременно убьют...

Старик, как был, без шапки побежал к реке. Еремка летел впереди.

— Ох, убьют! — повторял старик, задыхаясь на ходу. — Опять стреляют...

С горы все было видно. Около лесной заросли, где водились зайцы, стояли на известном расстоянии охотники, а из лесу на них гнали дичь загонщики. Вот затрещали деревянные трещотки, поднялся страшный гам и крик, и показались из заросли перепуганные, оторопелые зайцы. Захлопали ружейные выстрелы, и Богач закричал не своим голосом:

— Батюшки, погодите!! Убьете моего зайца... Ой, батюшки!!

До охотников было далеко, и они ничего не могли слышать; но Богач продолжал кричать и махал руками. Когда он подбежал, загон уже кончился. Было убито около десятка зайцев.

— Батюшки, что вы делаете? — кричал Богач, подбегая к охотникам.

— Как что? Видишь, зайцев стреляем.

— Да ведь в лесу-то мой собственный заяц живет...

— Какой твой?

— Да так... Мой заяц, и больше ничего. Левая передняя лапка перешиблена... Черное Ушко...

Богач осмотрел всех убитых зайцев, но среди них Черного Ушка не было. Все были с целыми лапками.

Охотники посмеялись над стариком и пошли дальше по лесной опушке, чтобы начать следующий загон. Посмеялись над Богачом и загонщики, ребята-подростки, набранные из деревни, посмеялся и егерь Терентий, тоже знакомый мужик.

— Помутился немножко разумом наш Богач, — пошутил Терентий. — Этак каждый начнет разыскивать по лесу своего зайца...

Для Богача наступило время охоты на зайцев, но он все откладывал. А вдруг в ловушку попадет Черное Ушко? Попробовал он выходить по вечерам на гумна, где кормились зайцы, и ему казалось, что каждый пробегавший мимо заяц — Черное Ушко.

«Да ведь Еремка-то по запаху узнает его, на то он пес... Надо попробовать...»

— Сказано — сделано. Раз, когда поднялась непогода, Богач отправился с Еремкой на охоту. Собака пошла под гору как-то неохотно и несколько раз оглядывалась на хозяина.

— Ступай, ступай, нечего лениться!.. — ворчал Богач.

Он обошел гумна и погнал зайцев. Выскочило зараз штук десять.

«Ну, будет Еремке пожива», — думал старик.

Но его удивил собачий вой. Это был Еремка, сидя под горой. Сначала Богач подумал, что собака взбесилась, и только потом понял, в чем дело. Еремка не мог различить зайцев... каждый заяц ему казался Черным Ушком. Сначала старик рассердился на глупого пса, а потом проговорил:

— А ведь правильно, Еремка, даром, что глупый пес... Верно, шабаш зайцев душить. Будет...

Богач пошел к хозяину фруктового сада и отказался от своей службы.

— Не могу больше... — коротко объяснил он.

Приемыш

I

Дождливый летний день. Я люблю в такую погоду бродить по лесу, особенно, когда впереди есть теплый уголок, где можно обсушиться и обогреться. Да к тому же летний дождь — теплый. В городе в такую погоду — грязь, а в лесу земля жадно впитывает влагу, и вы идете по чуть отсыревшему ковру из прошлогоднего палого листа и осыпавшихся игл сосны и ели. Деревья покрыты дождевыми каплями, которые сыплются на вас при каждом движении. А когда выглянет солнце после такого дождя, лес так ярко зеленеет и весь горит алмазными искрами. Что-то праздничное и радостное кругом вас, и вы чувствуете себя на этом празднике желанным, дорогим гостем.

Именно в такой дождливый день я подходил к Светлому озеру, к знакомому сторожу на рыбачьей сайме[1], Тарасу. Дождь уже редел. На одной стороне неба показались просветы; еще немножечко, и покажется горячее летнее солнце. Лесная тропинка сделала крутой поворот, и я вышел на отлогий мыс, вдавшийся широким языком в озеро. Собственно, здесь было не самое озеро, а широкий проток между двумя озерами, и сайма приткнулась в излучине на низком берегу, где в заливчике ютились рыбачьи лодки. Проток между озерами образовался благодаря лесистому острову, разлегшемуся зеленой шапкой против саймы.

Мое появление на мысу вызвало сторожевой оклик собаки Тараса, — на незнакомых людей она всегда лаяла особенным образом, отрывисто

[1] Саймой на Урале называют рыбацкие стоянки.

и резко, точно сердито спрашивала: «Кто идет?» Я люблю таких простых собачонок за их необыкновенный ум и верную службу...

Рыбачья избушка казалась перевернутой вверх дном большой лодкой, — это горбилась старая деревянная крыша, проросшая веселой зеленой травой. Кругом избушки поднимались густая поросль из иван-чая, шалфея и «медвежьих дудок», так что у подходившего к избушке человека виднелась одна голова. Такая густая трава росла только по берегам озера потому что здесь достаточно было влаги, и почва была жирная.

Когда я подходил уже совсем к избушке из травы кубарем вылетела на меня пестрая собачонка и залилась отчаянным лаем.

— Соболько, перестань... Не узнал?

Соболько остановился в раздумьи, но, видимо, еще не верил в старое знакомство. Он осторожно подошел, обнюхал мои охотничьи сапоги и только после этой церемонии виновато завилял хвостом. Дескать, виноват, ошибся, а все-таки я должен стеречь избушку.

Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, то-есть он, вероятно, отправился на озеро осматривать какую-нибудь рыболовную снасть. Кругом избушки все говорило о присутствии живого человека: слабо курившийся огонек, охапка только что нарубленных дров, сушившаяся на кольях сеть, топор, воткнутый в обрубок дерева. В приоткрытую дверь саймы виднелось все хозяйство Тараса: ружье на стене, несколько горшков на припечке, сундучок под лавкой, развешанные снасти. Избушка была довольно просторная, потому что зимой во время рыбного лова в ней помещалась целая артель рабочих. Летом старик жил один. Несмотря ни на какую погоду, он каждый день жарко натапливал русскую печь и спал на полатях. Эта любовь к теплу объяснялась почтенным возрастом Тараса: ему было около девяносто лет; я говорю «около», потому что сам Тарас забыл, когда он родился. «Еще до француза», — как объяснял, он, то-есть до нашествия французов в Россию в 1812 году.

Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стене, я принялся разводить огонь. Соболько вертелся около меня, предчувствуя какую-нибудь поживу. Весело разгорался огонек, пустив кверху синюю струйку дыма. Дождь уже прошел. По небу неслись разорванные облака, роняя редкие капли, кое-где синели просветы неба, а потом показалось и солнце, горячее июльское солнце, под лучами которого мокрая трава точно задымилась. Вода в озере стояла тихо-тихо, как

это бывает только после дождя. Пахло свежей травой, шалфеем, смолистым ароматом недалеко стоявшего сосняка. Вообще хорошо, как только может быть хорошо в таком глухом лесном уголке. Направо, где кончается проток, синела гладь Светлого озера, а за зубчатой каймой поднимались горы.

Чудный уголок! И не даром старый Тарас прожил здесь целых сорок лет. Где-нибудь в городе он не прожил бы половины, потому что в городе не купишь ни за какие деньги такого чистого воздуха, а главное — этого спокойствия, которое охватывало здесь. Хорошо на сайме!.. Весело горит яркий огонек, начинает припекать горячее солнце, глазам больно смотреть на сверкающую даль чудного озера. Так сидел бы здесь и, кажется, не расстался бы с чудным лесным привольем.

В ожидании старика я прикрепил на длинной палке медный походный чайник с водой и повесил его над огнем. Вода уже начинала кипеть, а старика все не было.

— Куда бы ему деться? — раздумывал я вслух. — Снасти осматривают утром, а теперь полдень... Может быть, поехал посмотреть, не ловят ли кто рыбу без спроса... Соболько, куда девался твой хозяин?

Умная собака только виляла пушистым хвостом, облизывалась и нетерпеливо взвизгивала. По наружности Соболько принадлежал к типу так называемых «промысловых» собак. Небольшого роста, с острой мордой, стоячими ушами и загнутым вверх хвостом, он напоминал обыкновенную дворнягу с той разницей, что дворняга не нашла бы в лесу белки, не сумела бы «облаять» глухаря, выследить оленя, — одним словом, настоящая промысловая собака, лучший друг человека. Нужно видеть такую собаку именно в лесу, чтобы в полной мере оценить все ее достоинства.

Когда этот «лучший друг человека» радостно взвизгнул, я понял, что он завидел хозяина.

Действительно, в протоке черной точкой показалась рыбачья лодка, огибавшая остров. Это и был Тарас. Он плыл, стоя на ногах, и ловко работал одним веслом, — настоящие рыбаки все так плавают на своих лодках-однодревках, называемых не без основания «душегубками». Когда он подплыл ближе, я заметил, к удивлению, плывшего перед лодкой лебедя.

— Ступай домой, гуляка! — ворчал старик, подгоняя красиво плывшую птицу. — Ступай, ступай... Вот я тебе дам уплывать неизвестно куда... Ступай домой, гуляка!

Лебедь красиво подплыл к сайме, вышел на берег, встряхнулся и, тяжело переваливаясь на своих кривых черных ногах, направился к избушке.

II

Старик Тарас был высокого роста, с окладистой седой бородой и строгими большими серыми глазами.

Он все лето ходил босой и без шляпы. Замечательно, что у него все зубы были целы, и волосы на голове сохранились. Загорелое широкое лицо было изборождено глубокими морщинами. В жаркое время он ходил в одной рубахе из крестьянского синего холста.

— Здравствуй, Тарас!

— Здравствуй, барин!

— Откуда ты?

— А вот за Приемышем плавал, за лебедем... Все тут вертелся, в протоке, а потом вдруг и пропал. Ну, сейчас за ним. Выехал в озеро — нет, по заводям проплыл — нет, а он за островом плавает.

— Откуда достал-то его, лебедя?

— А тут охотники наезжали, ну лебедя с лебедушкой пристрелили, а вот этот остался. Забился в камыши и сидит. Летать-то не умеет, вот и спрятался ребячьим делом. Я, конечно, ставил сети против камышей, ну, и поймал его. Пропадет один-то, ястреба заедят потому как смыслу в нем еще настоящего нет. Сиротой остался. Вот я его привез и держу. И он тоже привык. Теперь вот скоро месяц будет, как живем вместе. Утром на заре поднимется, поплавает в протоке, покормится, потом и домой. Знает, когда я встаю, и ждет, чтобы покормили. Умная птица, одним словом, и свой порядок знает.

Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке. Лебедь приковылял к самой избушке и, очевидно, ожидал какой-нибудь подачки.

— Улетит он у тебя, дедушка, — заметил я.

— Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт, кругом вода...

— А зимой?

— Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит, а нам с Собольком веселей. Как-то один охотник забрел ко мне на сайму, увидал лебедя и говорит вот так же: «Улетит, ежели крылья не подрежешь». А как же можно увечить птицу? Пусть живет, как ей природой указано... Человеку указано одно, а птице — другое... Не возьму

я в толк, зачем господа лебедя застрелили. Ведь и есть не станут, а так, для озорства...

Лебедь точно понимал слова старика и посматривал на него своими умными глазами.

— А как он с Собольком? — спросил я.

— Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь лебедь-то в другой раз у Соболька и кусок отнимает. Пес заворчит на него, а лебедь его крылом. Смешно на них со стороны смотреть. А то гулять вместе отправятся, лебедь по воде, а Соболько — по берегу. Пробовал пес плавать за ним, ну, да ремесло-то не то: чуть не потонул. А как лебедь уплывет, Соболько ищет его. Сядет на бережку и воет... Дескать, скучно мне, псу, без тебя, друг сердешный. Так вот и живем втроем.

Я очень люблю старика. Рассказывал он уж очень хорошо, знал много. Бывают такие хорошие, умные старики. Много летних ночей приходилось коротать на сайме, и каждый раз узнаешь что-нибудь новое.

Прежде Тарас был охотником и знал места кругом верст на пятьдесят, знал всякий обычай лесной птицы и лесного зверя; а теперь не мог уходить далеко и знал одну свою рыбу. На лодке плавать легче, чем ходить с ружьем по лесу, а особенно по горам. Теперь ружье осталось у Тараса только по старой памяти да на всякий случай, если бы забежал волк. По зимам волки заглядывали на сайму и давно уже точили зубы на Соболька. Только Соболько был хитер и не давался волкам.

Я остался на сайме на целый день. Вечером ездили удить рыбу и ставили сети на ночь. Хорошо Светлое озеро, и не даром оно названо Светлым, — вода в нем совершенно прозрачная, так что плывешь на лодке и видишь все дно на глубине нескольких аршин. Видны и пестрые камешки, и желтый речной песок, и водоросли; видно, как рыба ходит «руном», то-есть стадом. Таких горных озер на Урале сотни, и все они отличаются необыкновенной красотой.

От других Светлое озеро отличалось тем, что прилегало к горам только одной стороной, а другой выходило «в степь», где начиналась благословенная Башкирия. Кругом Светлого озера разлеглись самые привольные места, а из него выходила бойкая горная река, разливавшаяся по степи на целую тысячу верст. Длиной озеро было до двадцати верст да в ширину около десяти. Глубина достигала в некоторых местах аршин тридцати. Особенную красоту придавала ему группа лесистых островов. Один такой островок отдалился на самую сере-

дину озера и назывался Голодным, потому что, попав на него в дурную погоду, рыбаки не раз голодали по нескольку дней.

Тарас жил на Светлом уже сорок лет. Когда-то у него были и своя семья, и дом, а теперь он жил бобылем. Дети перемерли, жена тоже умерла, и Тарас безвыходно оставался на Светлом по целым годам.

— Не скучно тебе, дедушка? — спросил я, когда мы возвратились с рыбной ловли. — Жутко одному-то в лесу...

— Да разве я один живу? Тоже скажешь... Все у меня есть... И птица всякая, и рыба, и трава. Конечно, говорить они не умеют, да я-то понимаю все. Сердце радуется в другой раз смотреть на них... У всякой свой порядок и свой ум. Ты думаешь, зря рыба плавает в воде или птица в лесу летает? Нет, у них заботы не меньше нашего... Эвон, погляди, — лебедь-то дожидается нас с Собольком. Ах, прокурат!..

Старик ужасно был доволен своим Приемышем, и все разговоры в конце концов сводились на него.

— Гордая птица, — объяснил он: — помани его кормом, да не дай, — в другой раз и не подойдет. Свой характер тоже имеет, даром что птица... С Собольком тоже себя очень гордо держит. Чуть-чуть — сейчас крылом, а то и носом долбанет. Известно, пес в другой раз созорничать захочет, зубами норовит за хвост поймать, а лебедь его по морде... Это тоже не игрушка, чтобы за хвост хватать.

Я переночевал и утром на другой день собрался уходить.

— Ужо по осени приходи, — говорил старик на прощание. — Тогда рыбу лучить будем с острогой. Ну, и рябчиков постреляем. Осенний рябчик жирный.

— Хорошо, дедушка, приду как-нибудь.

Когда я отходил, старик меня вернул.

— Посмотри-ка, как лебедь-то разыгрался с Собольком.

Действительно, стоило полюбоваться этой картиной. Лебедь стоял, раскрыв крылья, а Соболько с визгом и лаем нападал на него. Умная птица вытягивала шею и шипела на собаку, как это делают гуси. Старый Тарас от души смеялся над этой сценой, как ребенок.

III

В следующий раз я попал на Светлое озеро уже поздней осенью, когда выпал первый снег. Лес и теперь был хорош. Кое-где на березах еще оставался желтый лист. Ели и сосны казались зеленее, чем летом.

Сухая осенняя трава выглядывала из-под снега желтой щеткой. Мертвая тишина царила кругом, точно природа, утомленная летней кипучей работой, теперь отдыхала. Светлое озеро казалось больше, потому что не стало прибрежной зелени. Прозрачная вода потемнела, и в берег с шумом била тяжелая осенняя волна...

Избушка Тараса стояла на том же месте, но казалась выше, потому что не стало окружавшей ее высокой травы. Навстречу мне выскочил тот же Соболько. Теперь он узнал меня и ласково завилял хвостом еще издали.

Тарас был дома.

Он чинил невод для зимнего лова.

— Здравствуй, старина!

— Здравствуй, барин!

— Ну, как поживаешь?

— Да ничего... По осени-то к первому снегу прихворнул малость. Ноги болели... К непогоде у меня завсегда так бывает.

Старик, действительно, имел утомленный вид. Он казался таким дряхлым и жалким. Впрочем, это происходило, как оказалось, совсем не от болезни. За чаем мы разговорились, и старик рассказывал свое горе.

— Помнишь, барин, лебедя-то?

— Приемыша?

— Он самый... Ах, хороша была птица! А вот мы опять с Собольком остались одни... Да, не стало Приемыша.

— Убили охотники?

— Нет, сам ушел... Вот как мне обидно это... Уж я ли, кажется, не ухаживал за ним!! Из рук кормил... Он ко мне и на голос шел. Плавает он по озеру, — я его кликну, он и подплывет. Ученая птица. И ведь совсем привыкла... Да! Уж в заморозки грех вышел. На перелете стадо лебедей спустилось на Светлое озеро. Ну, отдыхают, кормятся, плавают, а я любуюсь. Пусть птица с силой соберется: не близкое место лететь. Ну, а тут и вышел грех. Мой-то Приемыш сначала сторонился от других лебедей; подплывет к ним — и назад. Те гогочут по-своему, зовут его, а он домой... Дескать, у меня свой дом есть. Так дня три это у них было. Все, значит, переговариваются по-своему, по-птичьему. Ну, а потом, вижу, мой Приемыш затосковал... Вот, все равно, как человек тоскует. Выйдет это на берег, встанет на одну ногу и начнет кричать. Да ведь так жалобно кричит... На меня тоску наго-

нит, а Соболько, дурак, волком воет. Известно, вольная птица, кровь-то сказалась...

Старик замолчал и тяжело вздохнул.

— Ну, и что же, дедушка?

— Ах, и не спрашивай... Запер я его в избушку на целый день так он и тут донял. Станет на одну ногу у самой двери и стоит, пока не сгонишь его с места. Только вот не скажет человечьим языком: «Пусти, дедушка, к товарищам. Они-то в теплую сторону полетят, что я с вами тут буду зимой делать?» Ах ты, думаю, задача! Пустить — улетит за стадом и пропадет...

— Почему пропадет?

— А как же? Те-то на вольной воле выросли. Их, молодые которые, отец с матерью летать выучили. Ведь, ты думаешь, как у них? Подрастут лебедята, — отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. Исподволь учат: все дальше да дальше. Своими глазами я видел, как молодых обучают к перелету. Сначала особняком учат, потом небольшими стаями, а потом уж сгрудятся в одно большое стадо. Ну, а мой-то Приемыш один вырос и никуда не летал. Поплавает по озеру, — только и всего ремесла. Где же ему перелететь? Выбьется из сил, отстанет от стада и пропадет. Не привычен к дальнему лету.

Старик опять замолчал.

— А пришлось выпустить, — с грустью заговорил он. — Все равно, думаю, ежели удержу на зиму, затоскует и схиреет. Уж птица такая особенная. Ну, и выпустил. Пристал мой Приемыш к стаду, поплавал с ним день, а к вечеру опять домой. Так два дня приплывал. Тоже, хоть и птица, а тяжело со своим домом расставаться. Это он прощаться плавал... В последний-то раз отплыл от берега этак шагов на сорок, остановился и как, братец ты мой, крикнет, по-своему. Дескать: спасибо за хлеб, за соль! Только я его и видел. Остались мы опять с Собольком одни. Первое-то время сильно мы оба тосковали. Спрошу я его: «Соболько, а где наш Приемыш?» А Соболько сейчас выть... Значит, жалеет. И сейчас на берег, и сейчас искать друга милого... Мне по ночам все казалось, что Приемыш-то тут вот полощется у берега и крылышками хлопает. Выйду, — никого нет...

Вот какое дело вышло.

Вёртел

I

Летнее яркое солнце врывалось в открытое окно, освещая мастерскую со всем ее убожеством, за исключением одного темного угла, где работал Прошка. Солнце точно его забыло, как иногда матери оставляют маленьких детей без всякого призора. Прошка, только вытянув шею, мог видеть из-за широкой деревянной рамы своего колеса всего один уголок окна, в котором точно были нарисованы зеленые грядки огорода, за ними — блестящая полоска реки, а в ней — вечно купающаяся городская детвора.

В раскрытое окно доносился крик купавшихся, грохот катившихся по берегу реки тяжело нагруженных телег, далекий перезвон монастырских колоколов и отчаянное карканье галок, перелетавших с крыши на крышу городского предместья Теребиловки.

Мастерская состояла всего из одной комнаты, в которой работали пять человек. Раньше здесь была баня, и до сих пор еще чувствовалась банная сырость, особенно в том углу, где, как паук, работал Прошка.

У самого окна стоял деревянный верстак с тремя кругами, на которых шлифовались драгоценные камни. Ближе всех к свету сидел старик Ермилыч, работавший в очках. Он считался одним из лучших гранильщиков в Екатеринбурге, но начинал с каждым годом видеть все хуже. Ермилыч работал, откинув немного назад голову, а Прошке была видна только его борода какого-то мочального цвета. Во время работы Ермилыч любил рассуждать вслух, при чем без конца бранил хозяина мастерской, Ухова.

— Плут он, Алексей-то Иванович, вот что, — повторял старик каким-то сухим голосом, точно у него присохло в горле. — Морит он нас, как тараканов. Да... И работой морит, и едой морит. Чем он нас кормит? Пустые щи да каша, — вот и вся еда. А какая работа, ежели у человека в середке пусто... Небось, сам-то Алексей Иваныч раз пять в день чаю напьется. Дома два раза пьет, а потом еще в гости уйдет и там пьет... И какой плут: обедает вместе с нами да еще похваливает... Это он для отводу глаз, чтобы мы не роптали. А сам, наверно, еще пообедает наособицу.

Работавший рядом с Ермилычем чахоточный мастер Игнатий обыкновенно молчал. Это был угрюмый человек, не любивший даром терять слова.

Зато подмастерье Спирька, молодой бойкий парень, щеголявший в красных кумачевых рубахах, любил подзадорить дедушку, как называли рабочие старика Ермилыча.

— И плут же он, Алексей-то Иваныч, — говорил Спирька, подмигивая Игнатию. — Мы-то чахнем на его работе, а он плутует. Целый день только и делает, что ходит по городу да обманывает, кто попроще. Помнишь, дедушка, как он стекло продал барыне в проезжающих номерах. И еще говорит: «Сам все работаю, своими руками...»

— И еще какой плут, — соглашался Ермилыч. — В прошлом году вот как ловко подменил аметист проезжающему барину. Тот ему дал поправить камень, потому грань притупилась и царапины были. Я и поправил еще... Камень был отличный... Вот он его себе и оставил, а проезжающему-то барину другой всучил...

Четвертый рабочий Левка, немой от рождения, не мог принимать участие в этих разговорах, и только мычал, когда Ермилыч знаками объяснял ему, какой плут их хозяин.

Сам Ухов заглядывал в свою мастерскую только рано утром, когда раздавал работу, да вечером, когда принимал готовые камни. Исключение представляли те случаи, когда попадала какая-нибудь срочная работа. Тогда Алексей Иванович забегал по десяти раз, чтобы поторопить рабочих. Ермилыч не мог терпеть такую срочную работу и каждый раз ворчал.

Работа в мастерской распределялась таким образом. Сырые камни сортировал Ермилыч, а потом передавал Левке «околтать», то-есть обколотить железным молотком так, чтобы можно было гранить. Это считалось черной работой, и только самые дорогие камни, как изум-

руд, околтывал Ермилыч сам. Околтанные Левкой камни поступали к Спирьке, который обтачивал их начерно.

Игнатий уже клал фасетки (грани), а Ермилыч поправлял еще раз и полировал.

В результате получались играющие разными цветами драгоценные и полудрагоценные камни: изумруды, хризолиты, аквамарины, тяжеловесы (благородный топаз), аметисты, а больше всего — раухтопазы (дымчатого цвета горный хрусталь) и просто горный бесцветный хрусталь.

Изредка попадали и другие камни, как рубины и сапфиры, которые Ермилыч называл «зубастыми», потому что они тверже всех остальных. Аметисты Ермилыч называл архиерейским камнем.

Старик относился к камням, как к чему-то живому и даже сердился на некоторые из них, как хризолиты.

— Это какой камень! Прямо сказать, враг наш, — ворчал он, пересыпая на руке блестящие изумруднозеленые зерна. — Всякий другой камень мокрым наждаком точится, а этому подавай сухой. Вот как наглотаешься пыли-то... Одна маята.

II

Солнце светило во все глаза, как оно светит только в июле. Было часов одиннадцать утра. Ермилыч сидел на самом припеке, и наслаждался теплом. Его уже не грела старая кровь.

Прошка думал целое утро об обеде. Он постоянно был голоден и жил только от еды до еды, как маленький, голодный зверек. Он рано утром заглядывал в кухню и видел, что на столе лежал кусок «шеины» (самый дешевый сорт мяса, от шеи) и вперед предвкушал удовольствие поесть щей с говядиной. Что может быть лучше таких щей, особенно, когда жир покрывает варево слоем чуть не в вершок, как от свинины... Хороша и шеина, если хозяйка не разбавит щей водой. От этих мыслей у Прошки щемило в желудке, и он глотал голодную слюну. Если бы можно было наедаться досыта каждый день...

Прошка вертел свое колесо, закрыв глаза. Он часто так делал, когда мечтал. Но его мысли сегодня были нарушены неожиданным появлением Алексея Ивановича. Это значило, что кто-то придет в мастерскую и что придется ждать обеда. Алексей Иваныч нарядился в свой рабочий костюм и озабоченно посмотрел кругом.

— Этакая грязь... — думал он вслух. — И откуда только она берется. Хуже, чем в конюшне... Спирька, хоть бы ты прибрал что-нибудь.

Спирька с недоумением посмотрел кругом. Если убирать, так надо всю мастерскую разнести по бревнышку. Он все-таки перенес из одного угла в другой несколько тяжелых камней, валявшихся в мастерской без всякой надобности. Этим все и кончилось. Алексей Иваныч только покачал головой и проговорил:

— Ну, и мастерская, нечего сказать. Только свиней держать.

Время подошло к самому обеду, когда у ворот уховского дома остановился щегольской экипаж, и из него вышла нарядная дама с двумя детьми, девочкой лет двенадцати и мальчиком лет десяти. Алексей Иваныч выскочил встречать дорогих гостей за ворота без шапки и все время кланялся.

— Уж вы извините, сударыня... Грязновато будет в мастерской: а камушки вы можете посмотреть у меня в доме.

— Нет, нет, — настойчиво повторила дама. — Камни я могу купить и в магазине; а мне именно хочется посмотреть вашу мастерскую, то есть показать детям, как гранят камни.

— А, это другое дело. Милости просим...

Дама поморщилась, когда переступила порог уховской мастерской. Она никак не ожидала встретить такое убожество.

— Отчего у вас так грязно?

— Нам никак невозможно соблюдать чистоту, — объяснял Алексей Иваныч. — Известно, камень... Пыль, сор, грязь... Уж как стараемся, чтобы почище.

Эти объяснения, видимо, нисколько не убедили даму, которая брезгливо подобрала юбки, когда переходила от двери к верстаку. Она была такая еще молодая и красивая, и уховская мастерская наполнилась запахом каких-то дорогих духов.

Девочка походила на мать и тоже была хорошенькая. Она с любопытством слушала подробные объяснения Алексея Иваныча и откровенно удивилась в конце концов тому, что из такой грязной мастерской выходят такие хорошенькие камушки...

— Да, барышня, случается, — объяснил Ермилыч, — и белый хлеб, который изволите кушать, на черной земле родится.

Алексей Иваныч прочитал целую лекцию о драгоценных камнях. Сначала показал их в сыром виде, а потом последовательную обработку.

— Прежде камней больше было, — объяснил он, — а теперь год от году все меньше и меньше. Вот взять александрит, — его днем с огнем наищешься. А господа весьма его уважают, потому как днем он зеленый, а при огне красный. Разного сословия бывает, сударыня, камень, все равно, как бывают люди.

Мальчик совсем не интересовался камнями. Он не понимал, чем любуются мать и сестра и чем хуже граненые цветные стекла.

Его больше всего заняло деревянное большое колесо, которое вертел Прошка. Вот это штука, действительно, любопытная: такое большое колесо и вертится.

Мальчик незаметно пробрался в темный уголок к Прошке и с восхищением смотрел на блестящую железную ручку, которую вертел Прошка.

— Отчего она такая светлая?

— А от рук, — объяснил Прошка.

— Дай-ка, я сам поверчу...

Прошка засмеялся, когда барчонок принялся вертеть колесо...

— Да это очень весело... А тебя как зовут?

— Прошкой.

— Какой ты смешной: точно из трубы вылез.

— Поработай-ка с мое, так не так еще почернеешь.

— Володя, ты куда это забрался! — удивлялась дама. — Еще ушибешься...

— Мамочка, ужасно интересно... отдай меня в мастерскую, я тоже вертел бы колесо. Очень весело... Вот смотри. И какая ручка светлая, точно отполированная. А Прошка походит на галчонка, который жил у нас. Настоящий галчонок...

Мать Володи заглянула в угол Прошки и только покачала головой.

— Какой он худенький, — пожалела она Прошку. — Он чем-нибудь болен?

— Нет, ничего, слава богу, — объяснил Алексей Иваныч. — Круглый сирота, ни отца, ни матери... Не от чего жиреть, сударыня. Отец умер от чахотки... Тоже мастер был по нашей части... У нас много от чахотки умирают...

— Значит, ему трудно...

— Нет, зачем трудно. Извольте сами попробовать... Колесо, почитай, само собой вертится.

— Но ведь он работает целый день.

— Обыкновенно.

А когда утром начинаете работать?

— Не одинаково, — уклончиво объяснил Алексей Иваныч, не любивший таких расспросов. — Глядя по работе... В другой раз часов с семи.

— А кончаете когда?

— Тоже не одинаково; в шесть часов, в семь, как случится.

Алексей Иваныч приврал самым бессовестным образом, убавив целых два часа работы.

— А сколько вы жалованья платите вот этому Прошке?

— Помилуйте, сударыня, какое жалованье. Одеваю, обуваю, кормлю, все себе в убыток. Так, из жалости держу сироту... Куда ему деться-то.

Дама заглянула в угол Прошки и только пожала плечами.

Ведь это ужасно: целый день провести в таком углу и без конца вертеть колесо. Это какая-то маленькая каторга.

— Сколько ему лет? — спросила она.

— Двенадцать...

— А на вид ему нельзя дать больше девяти. Вероятно, вы плохо его кормите.

— Помилуйте, сударыня. Еда для всех у меня одинаковая. Я сам вместе с ними обедаю. Прямо сказать, в убыток себе кормлю; только уж сердце у меня такое... Ничего не могу поделать и всех жалею, сударыня...

Барыня отобрала несколько камней и просила прислать их домой.

— Пришлите камни с этим мальчиком, — просила она, указывая глазами на Прошку.

— Слушаю-с, сударыня.

Последнее желание не понравилось Алексею Иванычу.

Эти барыни вечно что-нибудь придумают. К чему ей понадобился Прошка? Лучше он сам бы принес камни? Но делать нечего, — с барыней разве сговоришься. Прошка так Прошка, пусть его идет. Когда барыня уехала, мастерская огласилась общим смехом.

— Духу только напустила, — ворчал Ермилыч. — Точно от мыла пахнет.

— Она и Прошку надушит, — соображал Спирька. А Алексей Иваныч охулки на руки не положил: рубликов на пять ее околпачил.

— Что ей пять рублей? Наплевать! — ворчал Ермилыч. — У барских денежек глаз нет... Вот и швыряют. Алексей-то Иванычу это на руку. Вот как распинался он перед барыней: соловьем так и поет.



Барыня отобрала несколько камней и просила прислать их домой.

— Платье на ней шелковое, часы золотые, колец сколько. Богатеющая барыня.

— Ну, это еще неизвестно. Одна видимость в другой раз. Всякие господа бывают...

Дорогой маленький Володя объяснил матери, что Прошка — «вѐртел».

— Что это значит? — не понимала та.

— А вертит колесо, — ну, и вышел в е́ р т е л. Не в е р т е́ л, мама, а ве́ртел...

III

Бедного Прошку часто занимал вопрос о тех неизвестных людях, для которых он должен был с утра до ночи вертеть в своем углу колесо.

Сначала Прошка возненавидел свое колесо, потому что, не будь его, и не нужно бы было его вертеть. Это была совершенно детская мысль.

Потом Прошка начал ненавидеть Алексея Иваныча, к которому его отдала в ученье тетка: Алексей Иваныч нарочно придумал это проклятое колесо, чтобы мучить его.

«Когда я вырасту большой, — раздумывал Прошка за работой, — тогда я отколочу Алексея Иваныча, изрублю топором проклятое колесо и убегу в лес».

Последняя мысль нравилась Прошке больше всего. Что может быть лучше леса! Ах, как там хорошо! Трава зеленая-зеленая, сосны шумят вершинами, из земли сочатся ключики, всякая птица поет по-своему — умирать не нужно. Устроить из хвои шалашик, разложить огонек, — и живи себе, как птица. Пусть другие задыхаются в городах от пыли и вертят колеса... Прошка уже видел себя свободным, как птица.

«Убегу! — решал Прошка тысячу раз, точно с кем-нибудь спорил. — Даже и Алексея Ивановича не буду бить, а просто убегу».

Прошка думал целые дни, вертит колесо свое и думает, думает без конца. Разговаривать за работой было неудобно, не то, что другим мастерам.

И Прошка все время думал, думал до того, что начинал видеть свои мысли, точно живыми. Видел он часто и самого себя и непременно большим и здоровым, как Спирька. Ведь хорошо быть большим. Не понравилось у одного хозяина, — пошел работать к другому.

Ненависть к Алексею Иванычу тоже прошла, когда Прошка понял,

что все хозяева одинаковы и что Алексей Иваныч делает то же, что делали и с ним, когда он был таким же вёртелом, как сейчас Прошка. Значит, виноваты те люди, которым нужно все эти аметисты, изумруды, тяжеловесы, — они и заставляли Прошку вертеть его колесо.

Тут уж воображение Прошки отказывалось работать, и он никак не мог представить этих бесчисленных врагов, сливавшихся для него в одном слове «господа». Для него ясно было одно, что они злые. Для чего им эти камни, без которых так легко обойтись. Если бы господа не покупали камней у Алексея Иваныча, ему пришлось бы бросить свою мастерскую, — и только всего. А вон барыня еще детей притащила... Действительно, есть чем полюбоваться... Прошка видел во сне эту барыню, у которой камни были и на руках, и на шее, и в ушах, и на голове. Он ненавидел ее и даже сказал:

— У, злая...

Ему казалось, что и глаза у барыни светились, как светит шлифованный камень — зеленые, злые, как у кошки ночью.

IV

Прошка умирал у своего колеса от наждачной пыли, дурного питания и непосильной работы, а все же продолжал работать... А колесо делалось все тяжелее и тяжелее...

От натуги у Прошки начинала кружиться голова, и ему казалось, что вместе с колесом вертится вся мастерская.

По ночам он видел во сне целые груды драгоценных камней, розовых, зеленых, синих, желтых.

Хуже всего было, когда эти камни радужным дождем сыпались на него и начинали давить маленькую больную грудь, а в голове начинало что-то тяжелое кружиться, точно там вертелось такое же деревянное колесо, у которого Прошка прожил всю свою маленькую жизнь.

Потом Прошка слег. Ему пристроили небольшую постельку тут же в мастерской.

Ермилыч ухаживал за ним почти с женской нежностью и постоянно говорил:

— Ты бы поел что-нибудь, Прошка. Экой ты какой...

Но Прошка ничего не хотел есть.

Через две недели его не стало...

Дедушкино золото

I

— Дядя Митрий приехал...

Первыми, конечно, заметили его ребятишки, игравшие на улице в бабки. Смотрят и видят, что по дороге с Ручьевой горы кто-то спускается на лошади, и еще кто-то идет позади пешком. Известно, ребятишки все увидят, а тут еще стояло такое время, петровки, когда совсем уже некому было ехать в Растес.

— Едет кто-то!.. — пронеслось по зеленой деревенской улице, — едет, едет, едет!..

Стояла послеобеденная пора, и все отдыхали где-нибудь на прохладе — по сенникам, на погребах, в сенях. Только один столетний дед Андриан не чувствовал жара и налаживал грабли и вилы на завалинке у своей избушки.

— Кому ехать-то, пострелята? — ворчал он, — Ужо вот я вас...

— Дедушка, ей-богу, кто-то едет!.. Погляди сам...

Не спала еще дурка Аннушка, которая смотрела, смотрела на Ручьеву гору и проговорила совершенно равнодушно:

— Кому ехать-то? Известно, дядя Митрий едет.

— Да ведь он на промыслах, глупая! — объяснял ей дед. — Ну, зачем он в такую пору поедет?.. Теперь там работа-то огнем горит. Да и ехать Митрию в Растес никакого расчету нет...

Ребятишки, как спугнутая воробьиная стая, рассыпались по всем избам и подняли на ноги весь народ. Скоро на улицу высыпали и бабы, и мужики, и старики, и старухи. Все смотрят и дивятся, кто это может приехать в Растес? А ребята уже успели сбегать навстречу и, что есть духу, вернулись назад.

— Дядя Митрий едет... Верхом... в шубе... А за ним жена идет...

Всем стало понятно, почему дядя Митрий едет тихо, — не хочет оставлять жену. В толпе пронесся нерешительный шопот, и все вопросительно смотрели на брата дяди Митрия, Спиридона. Ведь к нему приедет гость-то. Спиридон, сумрачный и неразговорчивый мужик, только почесал затылок и ушел к себе в избу. Брат Митрий был для него божеским наказанием каждую зиму, когда приходил с промыслов в Растес и жил у него; а тут еще летом притащился.

— Работничек к Спиридону едет... — галдели мужики: — страдовать поможет.

Спиридон запер даже ворота и ушел в огород, чтобы не видать непутевого братца. Братья давно уже ссорились и никак не могли помириться.

Дядя Митрий ехал не торопясь и, подъезжая к самой деревне, затянул какую-то песню. За его лошадью бежали ребята и кричали на все голоса:

— Дядя Митрий, ты чего это в шубу вырядился?

— Дурни вы... — с гордостью отвечал дядя Митрий, распахивая шубу. — Какая шуба-то? Енотовая... Поняли вы теперь?

— Собачья шуба... А лошадь где украл?

— Ах, вы... Вот я вас!

Поровнявшись с дедом Андрианом, дядя Митрий, не торопясь, слез с лошади и проговорил:

— Дедушке Андрияну почтение...

— Ты это што шутом-то разъезжаешь, Митрий? — ворчал старик. — Лето приехал пугать?

Подошли другие мужики и тоже принялись высмеивать.

— Дядя Митрий, жена-то за тобой вместо собачки ходит! Другой бы мужик жену на лошадь посадил, а сам бы пешком-то пошел...

— Куда же я в шубе пойду, братцы, и притом резиновые калоши на мне — оправдывался дядя Митрий, распахивая свою енотовую шубу. — Во какая шуба... Пятьдесят рубликов плачено, да калоши — три с полтиной.

Растесские мужики не видали ни енотовых шуб, ни резиновых калош и только качали головами. Всегда дядя Митрий чудачил, а тут и последний ум потерял. Их больше всего интересовала лошадь. Ее осматривали, толкали кулаками в бок, дули в ноздри, считали по зубам года; лошадь была хорошая, хоть куда.

Жену дяди Митрия обступили бабы и осматривали ее всю, — как мужики лошадь, — и новый кумачный платок, и ситцевую новую кофту, и новые ботинки. Дарья шла всю дорогу босая, а ботинки несла на палке.

— Где это вы разбогатели с Митрием? — допрашивали бабы, начиная завидовать Дарье. — И лошадь, и шуба, и ботинки — вся снасть. Золото обыскали хорошее?

— Всего было... — уклончиво отвечала Дарья. — Около золота и голодом живали. Спрашивайте Митрия... Он больше меня живет, а мое дело женское.

На шум голосов из окна выглянула жена Спиридона и только покачала головой.

— Принимайте гостей!.. — крикнул ей издали дядя Митрий. — Где брат-то Спиридон? Чего вы спрятались-то? Ох, и народец только!..

— Брат-то от тебя на огороде в борозде спрятался, — подшучивал кто-то из толпы. — Напугал ты его шубой... И придумает только дядя Митрий!

Вышел за ворота и Спиридон. Он сумрачно посмотрел на дорогих гостей и еще сумрачнее сказал:

— Чего на улице-то толчетесь? Идите в избу...

— Постой, дай срок... — ответил дядя Митрий, отвязывая от седла какую-то мудреную штуку.

— Это что у тебя, дядя Митрий? — пытали любопытные.

— А спрос?.. А кто спросит, — того в нос... — шутил дядя Митрий — Дарья, держи лошадь. Сведи ее на холодок да привяжи к столбу... Пусть выстоится.

Брат Спиридон смотрел такими глазами на лошадь Митрия, на его шубу, калоши и на его самого, точно все это было не настоящее, а поддельное. И жена Дарья тоже была поддельная... Он сердито запер за ними ворота и крикнул ребятам, заглядывающим в щели:

— Вы-то чему обрадовались? Не видали, как человек из ума выступит?

Дядя Митрий ждал, пока жена привязывала лошадь, а потом передал ей шубу и калоши.

— Положи в сенцах, Дарья, где попрохладнее.

Потом дядя Митрий прошел в переднюю избу, вымыл руки у печки, где висел глиняный рукомойник с отбитым носком, помолился на образ в переднем углу и проговорил, кланяясь брату и снохе:

— Здравствуйте, любезнюющий братец, Спиридон Кондратьич и любезнюющая невестушка, Степанида Ляксевна.

— Ну, здравствуй...— буркнул Спиридон. — Откуда это тебя принесло?

— Отсюда не видать, братец, а где был, — ничего не осталось. Вот весь тут...

Братья по наружности очень походили друг на друга: среднего роста, широкие в кости, бородатые, сероглазые. Большаку Спиридону было пятьдесят, а Митрий был помоложе года на три. Но за этим наружным сходством таилась громадная внутренняя разница, и братья казались людьми из чужих семей, как и их жены: Дарья была безответная бабенка, а жена Спиридона отличалась степенной суровостью. Последняя вела весь дом и привыкла, в качестве большухи, распоряжаться другими.

— А это что у тебя за котомка? — спрашивала Степанида, заглядывая в таинственный сверток, который дядя Митрий держал в руках.

— Все будешь знать, скоро состаришься.

Пришла дурочка Аннушка, проживавшая у Спиридона из милости, и тоже смотрела, что вынет дядя Митрий из котомки.

— Машину я вам паровую привез... — шутил дядя Митрий, доставая из тряпиц новенький тульский самовар. — Это вам от нас подарочек, любезная сноха наша, Степанида Ляксевна... Попивайте чаек да нас добром поминайте... Кланяйся, Дарья, и проси принять подарочек.

— И что ты только, Митрий, придумаешь... — журила Степанида, принимая с радостью дорогой подарок. — Сроду и чаю-то не пивали, а только слыхали, как другие пьют.

— Дело весьма немудреное... — Раз напилась, — и вся наука.

— Ума у тебя нет, Митрий, — ворчал Спиридон. — Как родился ты без ума, так и помрешь... Это писаря да купцы самовары-то пьют, а мы-то зачем добрых людей смешить будем.

— Вот ты всегда так, братец, — обиделся дядя Митрий. — То есть вот ничем не угодишь на тебя.

II

Весть о самоваре разлетелась по деревне с быстротой молнии и снова собрала толпу около избы Спиридона.

— Весь золотой самовар этот самый, — уверяла какая-то бабка. — Вот сейчас провалиться, своими глазами видела... Так и горит!..

В Растесе это был первый самовар, и понятно, все удивились дяде Митрию, который умудрился вывезти такую мудреную машину...

— Уж что только и будет... — шептались между собою старушки. — Страсть, сказывают, грешно!

Спиридон слышал это галдение и несколько раз, высунув в окно голову, сердито говорил:

— Ну, чего вы тут сбежались?

— Дядя Спиридон, покажи самовар! — кричали ребятишки.

— Отвяжитесь... Вот наказание-то божеское!

— Дядя Спиридон, не гордись... хоть в окошко покажи самовар-то. Ведь не съедим...

Сердитый мужик отплевывался и сердито захлопывал окно. И придумает же Митрий этакую оказию... А дядя Митрий, как ни в чем не бывало, уселся на лавку и командовал:

— Ну-ка, любезная наша супруга, заведи эту машину... Будем чай пить. А ты, Аннушка, сбегай-ка за дедушкой Андрияном и волоки его сюда. Так и скажи: — «Дядя Митрий зовет чай пить». Надо уважить старичка... Так я говорю, братец Спиридон Кондратьич?

— Отвяжись ты от меня... Теперь ребята по улице проходу не дадут из-за тебя: — «Покажи самовар, дядя Спиридон!» Тьфу, один срам...

— Эх, деревня, деревня... Потом благодарить будете... Ты что же это, Аннушка, не идешь за дедом?

— Дай поглядеть, — ответила дурочка, следившая за каждым движением ставившей самовар Дарьи. — Уж очень смешно...

Аннушка постоянно смеялась, закрывая рот рукавом, а тут уж совсем выходило смешно, когда из самовара повалил густой дым. Засмеялась даже Степанида.

— Ну и деревня! — продолжал удивляться дядя Митрий. — Тут самовар, а им смешно... Дарья, а ты его продуй хорошенько, чтобы он торопился.

Бабы принялись раздувать самовар попеременно, и он скоро закипел. Аннушка прыснула от смеха и бросилась из избы, как угорелая.

— Ох, уморушка! — рассказывала она бабам на улице. — Как зашипит в нем, зафыркает... Сейчас провалиться! Побегу за дедом Андрияном, пусть он посмеется.

Дед Андриан долго не соглашался итти к дяде Митрию, но потом и его разобрало любопытство. Очень уж смешно рассказывала дурка Аннушка. Старик не видал никогда, что за штука самовар.

— Шипит, говоришь? — спрашивал он дорогой.

— Шипит, дедушка Андриян... Вот как гусь или кот, если их рассердить. Уж так смешно дядя Митрий придумал... Тетка Степанида — и та смеется... А дядя Спиридон ругается. Ребята дразнят его самоваром — «покажи, слышь, самовар»... Уж так смешно, дедушка!..

— Чего смешно-то, глупая?

— Да все смешно...

Дедушка Андриан ходил всегда с палкой и сильно горбился. Борода у него была даже не седая, а желтая, и слышал он не совсем хорошо. Но это не мешало ему работать за настоящего мужика: потихоньку работает старик, а, глядишь, и наработал. В Растесе он был всех старше, и все его величали дедушкой. По-деревенски дяде Митрию он приходился какой-то дальней родней, — в Растесе, правда, все были в родстве и состояли в кумовстве или сватовстве, как говорят по-деревенски.

Когда старик вошел в избу, кипевший самовар уже был на столе. Чай разливал сам дядя Митрий, при чем успел похвастаться новеньким расписным чайником и двумя чашками.

— Не щепки плачены, а деньги, — объяснял он.

— Швыряешь деньгами-то хуже щепок... — оговорил его Спиридон, отличавшийся большой скупостью. — Привез бы лучше деньгами, чем самовары покупать. Вон и дедушка Андриян тоже скажет...

— А, дедушка, милости просим, — приглашал дядя Митрий. — Ну, садись, старичок, в передний угол, — тебе и первая чашка...

— Ах, Митрий, Митрий... — смеялся старик, качая головой. — Ежели бы еще ложкой похлебать, а то и не сумеешь...

— Выучим, старичок. Очень даже пользительно для вас, старичков, чайку испить... Эй, Аннушка, иди-ка сюды, надо мне словечко тебе сказать.

Дядя Митрий отвел Аннушку в сторону, что-то ей шепнул, сунул в руку бумажку и прибавил громко:

— Да поживей, умница... Одна нога здесь, другая там.

Чашки были налиты. Одна поставлена перед дедушкой Андрианом, как почетным гостем, а другая перед Спиридоном.

— Ну, уж это, брат, ни-ни... — уперся Спиридон. — Пей сам, коли нравится.

— Ежели бы к этому делу деревянную ложку... — просил старик, не решаясь отхлебнуть из чашки кипяток. — Куда бы способнее, Митрий.

Пришлось дяде Митрию показать самому, как пьют чай, и старик Андриан последовал его примеру.

— Ничего, тепленькое... хорошо... — хвалил он. — Ежели зимой, так в самый раз выйдет.

— Тут дух-то понюхай, — учил дядя Митрий

— И дух есть... верно... сеном свежим отдает...

Этот первый опыт с чаепитием огорчил дядю Митрия: Спиридон не желал пить, а дедушка Андриан не умел. Вступалась Дарья и учила старика:

— Ты, дедушка, кусай сахару-то больше... Самый скус узнаешь.

— Я и то сахар-то люблю... Вон какой кусок... А я его лучше снесу, Дарья, внучке Аринке... Есть у меня такая внучка, — ну, так я, значит, ей и предоставлю.

Выручила дядю Митрия дурочка Аннушка, которая принесла бутылку водки. Кабака в Растесе не было, а водку на случай держал богатый мужик Аким.

— Ну, вот это настоящий разговор будет, — похвалил дедушка Андриан. — Что же, я люблю выпить стаканчик... Кровь разбивает и по всякой жилке пройдется. Только вот с год я не пил... Скус забыл.

— Ничего, вспомним, дедушка... А пока пущай бабы учатся чай пить. Ну, Дарья, действуй.

Мужики выпили по стаканчику водки, потом по другому, и разговор начался. Собственно, говорил один дядя Митрий.

— Откуда это у тебя богатство прикачнулось? — спрашивал дедушка Андриан. — И лошадь, и шуба, и самовар, и одежда?..

— Слово такое знаю, дедушка, — хвастался дядя Митрий. — Скажу, и готово дело... Стоит рукой повести.

— А не хвастаешь, Митрий?

— Я?..

Дядя Митрий вытащил из-за голенища бумажник, развернул его и показал пятьдесят рублей.

— Это еще цветочки, дедушка, а ягодки впереди. Вот какое золото я обыскал на промыслах... Эй, Аннушка, сбегай-ка еще. Хочу уважить дедушку Андрияна... Не поминайте лихом дядю Митрия.

Дедушка Андриан немного захмелел, улыбался и покачивал только головой, слушая похвальбу дяди Митрия. Откуда только что берется у мужика? В избу незаметно набрался разный народ, больше все бабы и ребята; мужики стеснялись итти незваными. К самому столу пробрал-

ся внучек Андриана, белоголовый мальчуган Кузька, и смотрел дяде Митрию прямо в рот. Мальчуган пришел потому, что позвали дедушку, а другие ребята не смели.

— А как ты меня понимаешь, дедушка? — приставал дядя Митрий, тоже захмелевший. — Каков я человек есть? Ну-ка, выговори, старичок...

— Дело известное: пустой колос голову высоко несет, — отрезал дедушка Андриан. — Ты уж не обижайся, Митрий... Мы попросту.

Дядя Митрий очень обиделся и даже покраснел. Он хотел удивить весь Растес, а дедушка его же срамит... Когда Аннушка принесла вторую бутылку водки, дядя Митрий выпил залпом целую чашку и проговорил:

— Я пустой колос, дедушка? А я вот что сделаю... да, сделаю. Ты вот смеешься над дядей Митрием, а дядя Митрий возьмет всех и озолотит... Это как по-твоему? Вот Аннушку с собой возьму на промысла и озолочу... да и твоего внучка Кузьку прихвачу... Там всем найдется работа!.. Сделай милость... да.

Дедушка Андриан тоже рассердился: и не пил водки он давно, и стар стал, да и дядя Митрий очень уж расхвастался.

— Озолочу, озолочу... — передразнивал он дядю Митрия. — А сам ничего то-есть не понимаешь.

— Как это не понимаю?

— А так... Хвалишься чужим золотом, а у нас своего золота сколько угодно.

— Н-но-о?

— А так. Ты вот за золотом-то по чужой стране гоняешься, а оно у дедушки Андрияна совсем дома.

Дядя Митрий захохотал, а дедушка Андриан еще пуще того рассердился и даже палкой стукнул.

— Кузька, беги домой... там на божнице в уголке лежит тряпочка, завязанная узелком... Понимаешь, малыш? Ты ее и волоки сюда. Покажем дяде Митрию, как над дедушкой Андрияном смеяться...

III

По дороге Кузька успел рассказать, как хвастается дядя Митрий, и как дедушка Андриян хочет его осрамить. Мужики только дивились, откуда бы у дедушки взяться золоту. В Растесе никто и не видал, какое

золото бывает. Правда, кто-то припомнил, что дедушка Андриан когда-то в молодости работал на промыслах, — может, от старой работы старик оставил на поглядку.

Пока Кузька бегал за дедушкиным золотом, все еще выпили водки, а дядя Митрий громко кричал:

— Ну, Кузька, показывай дедушкино золото...

Дедушка Андриан осторожно сам развязал завязанную узелком тряпочку и показал дяде Митрию несколько блестящих крупинок.

— А вот погляди, дядя Митрий...

Дядя Митрий взял тряпочку, долго рассматривал крупинки, попробовал одну на зуб и только покрутил головой.

— Ну, что теперь скажешь, хвастун? — приставал захмелевший старик.

— Что тут говорить: настоящее золото. Достаточно его видали.

— Вот то-то и есть...

— Золото оно, действительно, золото, дедушка, только откуда?

— Здешнее, милый человек, родное наше...

— Ну, уж это ты оставь... Слыхом не слыхал что-то про здешнее золото, — спорил дядя Митрий. — Не иначе, что ты в прежнее время вынес его с промыслов... Верно тебе говорю.

— А вот здешнее!..

— На нем не написано, откуда оно взялось...

— А вот и не написано, да здешнее. Доказать могу вполне...

— А ну, докажи... Весьма это будет любопытно.

— И докажу... Аннушка, иди-ка сюда к столу. Да ну, не упирайся, милая...

Дурочка хихикнула, закрыла лицо рукавом рубахи и подошла.

— Ну, теперь говори все по порядку, как дело было! — приказывал расходившийся старик. — Всю историю, правду говори...

— Чего рассказывать-то? — удивилась Аннушка. — Значит, гуси были. А по осени дядя Спиридон и приколол старого гусака, когда заморозки пошли. А тетка Степанида говорит: «Ощипли гуся и потроха вынь». Ну, я и сделала все, как наказывала тетка. Только и было... Больше ничего не знаю.

— А золото-то откуда? — приставал дядя Митрий.

— Никакого золота я не знаю...

— Да вот эти крупинки?

— Эти-то? А значит, как я вспорола гуся, стала чистить, а в зобу у

него и мельтесят[1] эти крупинки. Я их собрала и показала дедушке Андрияну... Ну, он наказал, чтобы я накрепко молчала. Я и молчала...

— Ну, што, Митрий, теперь услыхал, откуда золото наше добывают? — смеялся дедушка Андриан. — Эх, ты, хвастун... Я его и в печке отжигал, — настоящее золото.

— Так, дедушка Андриян... так... — бормотал дядя Митрий, что-то соображая про себя. — Перехитрил ты меня своим золотом. Ну, будь по-твоему... Кругом я вышел виноват перед тобой.

— Вот давно бы так-то...

Дедушка завернул свое золото в тряпочку, завязал ее узелком и велел Кузьке снести домой. А сам сидит и смеется, — рад, что осрамил дядю Митрия.

Не в меру развеселившийся дедушка кончил тем, что тут же за столом и заснул, как засыпают нашалившиеся дети. Дядя Митрий все встряхивал головой, чесал в затылке и улыбался.

— Вот так дедушка... Уважил! — бормотал он. — И ведь сколько времени скрывал... Хитрый старичок, одним словом.

— Пустое самое дело... — ворчал Спиридон, рассердившийся опять и на дядю Митрия и на дедушку Андриана. — Мало ли чего гуси сдуру наглотаются? Известно, глупая птица...

— Глупая? Глупая, а нас с тобой поучит. Ты вышли-ка, Спиридон, баб из избы. Надо мне сказать тебе одно словечко...

Когда бабы ушли, дядя Митрий проговорил вполголоса:

— Любезный братец, Спиридон Кондратьич, ведь это — целое богатство...

— Гусь-то?

— Не гусь, а золото, которое дурочка Аннушка нашла у него в зобу. Где он плавал, твой-то гусь?

— По реке плавал... Озеро есть, так и в озере плавал.

— Вот он плавал по реке-то, да и наглотал золота, — значит, мы и будем это самое золотое место искать...

— Тоже и скажет человек! — засмеялся Спиридон. — Ежели бы ты был гусь, может, и нашел бы... Река велика.

— Ничего, найдем... В лучшем виде найдем. Только ты никому ни слова. Понимаешь?

---

[1] Мельтесят — то же, что мелькают.

— Перестань ты морочить, Митрий... Пустое.

— А ты все-таки молчи. Все это дело на счастливого, а у меня рука на золото легкая. Обыщем живым манером... Ах, дедушка Андриян, и задал старичок задачу!

Дедушка Андриан проснулся на другое утро с сильной головной болью и долго соображал, что такое вчера вышло. Мало-помалу он припомнил все и только ахнул.

— Вот так подвел меня этот самый Митрий!.. — ворчал старик, поднимаясь. — Так подвел, что и не выговоришь разом-то... Ах ты, грех какой вышел! И надо же было мне сболтнуть... Ах ты, господи-батюшка! Вот напасть-то...

По стариковской привычке дедушка Андриан поднимался чуть свет, особенно летом. Про него говорили, что старик совсем не спит. И теперь было еще очень рано. В воздухе еще чувствовался утренний холодок, заставлявший вздрагивать. Уральские горные ночи холодные даже и в самое жаркое время. Дедушка Андриан покряхтел, умылся студеной водой и еще раз проговорил:

— Ах, подвел меня этот Митрий.

Деревушка Растес забралась в самую глушь Уральских гор. Здесь не было даже колесной дороги, а верхом в Растес можно было проехать только в самую сухую летнюю пору. С остальным миром Растес сообщался летом только по реке Порожней. Но об этом никто не горевал: некуда и незачем было ехать летом из Растеса. Вот зима встанет, — и везде скатертью дорога, на все четыре стороны. Зимой рубили лес и сплавляли его весной по Порожней, а также — дрова и уголь. В Растесе насчитывалось с небольшим сорок дворов, и работы всем хватало. А летом косили траву, убирали, — мало ли найдется деревенской работы про свой домашний обиход!.. Жили растесцы ни бедно, ни богато, а лучшего ничего не желали, может быть потому, что лучшего ничего и не видали.

Издали деревня казалась почти красивой, потому что бревенчатые избы рассыпались на самом мысу, который делала Порожняя меж двумя горами — Ручьевой и Отряхиной. Обе горы были покрыты сплошным хвойным лесом и походили на две громадные мохнатые шапки. Вверх по реке и вниз виднелись новые горы, которые обошли Растес со всех сторон тяжелыми синими валами. Места для пашен и покосов было очень немного, главным образом, — там, где были раньше курени, то-есть где вырубали лес. Самое название деревни происходило от того,

что она засела в Растесе между горами, — точно кто топором треснул между Ручьевой и Отряхиной. Растесские бабы нигде не бывали, кроме своей деревни, а мужики, сплавлявшие лес по Порожней, уверяли, что лучше их места нигде нет. Название реки получилось от порогов, которые стесняли ее течение выше деревни верстах в пяти, где выпадала из-за Ручьевой бойкая горная речка Смородинка.

Дед Андриан вышел на улицу, постоял у ворот, посмотрел кругом и только покачал головой. Любил старик свое родное гнездо и теперь чувствовал себя виноватым. Дернуло же его вчера похвалиться своим золотом... Потом старик вышел на огороды и из-под руки посмотрел на Порожнюю, которая еще была подернута утренним туманом. Эх, хороша речка!.. а по весне разыграется, так любо-дорого смотреть.

— Ужо надо заездки[1] посмотреть, — решил дедушка Андриан, чувствуя потребность промяться. — Испортил меня Митрий своим вином вчера... чтобы ему пусто было, хвастуну.

Старик побрел вверх по реке, где по берегу проложена была тропинка. Он сделал всего несколько шагов, как сейчас же заметил на земле свежий след мужского сапога с подковой на каблуке. Таких сапог в Растесе ни у кого не было, и дедушка Андриан сразу сообразил, в чем дело.

— Ах, негодный человек!.. Вот что он придумал! Ну, постой.

Старик прибавил ходу. Вот и устье Смородинки видать, — оно вдавалось в берег зеленой осочной зарослью. Любимое место было для уток и гусей, которые заплывали в тихую заводь кормиться. По осокам мелкая рыба не переводилась. Еще издали дедушка Андриан заметил сидевшего на берегу Смородинки мужика.

— Так и есть, Митрий... Он самый! Ах, негодный... И что он придумал!

И действительно, это был дядя Митрий. Он сидел на корточках над деревянным корытом и размешивал в нем речной песок с водой. Размешает и сольет мутную воду, а потом отбросит крупные камни и опять нальет воды. Дедушка Андриан издали догадался, что дядя Митрий делает пробу на золото, как и самому случалось делать на промыслах. Золото тяжелее песку и осядет на дно. Когда промытый песок выбросить, останется несколько крупинок золота, если оно есть. Достаточно нескольких таких крупинок, чтобы проба оказалась хорошей. Дядя

---

[1] Заездка — частокол в воде, в котором для ловли рыбы стоят морды (верши из ивовых прутьев).

Митрий так увлекся своей работой, что совсем не заметил, как к нему подошел дедушка Андриан: старик был босой и подкрался осторожно.

— Ты что это, разбойник, делаешь? — крикнул он, отталкивая дядю Митрия и опрокидывая корыто. — Есть у тебя совесть-то?

IV

Дяде Митрию не спалось целую ночь. Засело ему в голову дедушкино золото, как хороший клин... Вертелся, вертелся он с боку на бок и, наконец, поднялся, чуть еще забрезжило. Разыскал он в сенях деревянное корыто, в котором невестка Степанида стирала белье, захватил железный ковш и направился прямо к Смородинке, где кормилась водяная птица. Наверно, здесь и тот гусь кормился, которого потрошила Аннушка. Больше негде. По реке-то все места известны, и дядя Митрий еще мальчонком ходил воровать рыбу на заездки дедушки Андриана. Он и тогда был такой же старый и тогда так же промышлял рыбой под порогами, где останавливалась рыба, поднимавшаяся вверх по реке до самых порогов. Места были знакомые с детства, и дядя Митрий теперь присматривал их по-новому, привычным взглядом промыслового человека. Золото всегда попадается по скатам, где его сносит вместе с водой. И тут не иначе, что его нанесло в Смородинку с Ручьевой горы. Дядя Митрий нарочно поднялся на угор и внимательно осмотрел течение Смородинки. Самое подходящее место для золота. Дядя Митрий припомнил другие золотые промысла и нашел, что Смородинка нисколько не хуже. Он мысленно уже видел целые горы промытых песков, отвалы пустых верховников, запруду, под которой стоят вашгерды (ручные золотопромывальные машины), толпы рабочих, перепачканных глиной, веселые огоньки у балаганов и все остальное, что бывает только на приисках. Эх, ежели бы оправдалось дедушкино золото, — что бы тут было, вот на этой самой Смородинке! Стоном бы стон стоял... В других местах есть золото, по всему Уралу, особенно по сибирской стороне, — отчего ему не быть и в Растесе?

Когда дядя Митрий принялся делать пробу, он забыл все. Сказался настоящий промысловый человек. Проба уже доходила к концу, и ему начинало казаться, что на дне корыта уже «поблескивает» одна крупинка золота, когда вдруг дедушка Андриан опрокинул все корыто.

— Да ты это что, дед? В уме ли?

— Я-то в уме, а вот ты сбесился, Митрий... Что придумал-то? Ну-ка, сказывай!

— Известно что... А между прочим, тебе-то какое дело? Делаю, что я хочу, и никого не спрашиваюсь.

Дедушка стоял и долго смотрел на дядю Митрия в упор, а потом медленно проговорил:

— Митрий, есть в тебе совесть?..

— Даже сколько угодно...

— Митрий, неладно ты придумал... брось... Ведь ты всю деревню загубишь. Жили мы доселе хорошо, а что будет, когда золото вдруг объявится?.. Страшно сказать, Митрий.

— Всем хлеб будет, только и всего.

— Видали мы, как хлеб идет от промыслов... Ты думаешь, я не сообразил ничего, когда Аннушка показала мне это золото? Все обдумал и скрыл. Всем нам беда от него будет, — вот я и молчал. А тут меня вчера точно кто за язык дернул... И тебя-то на грех принесло. Митрий, уезжай ты опять на свои промысла и забудь про наше золото. Я тебе на дорогу последние десять рублей отдам, которые припас на помин души... Мой грех, ну, мне и отвечать. Слышишь, Митрий?

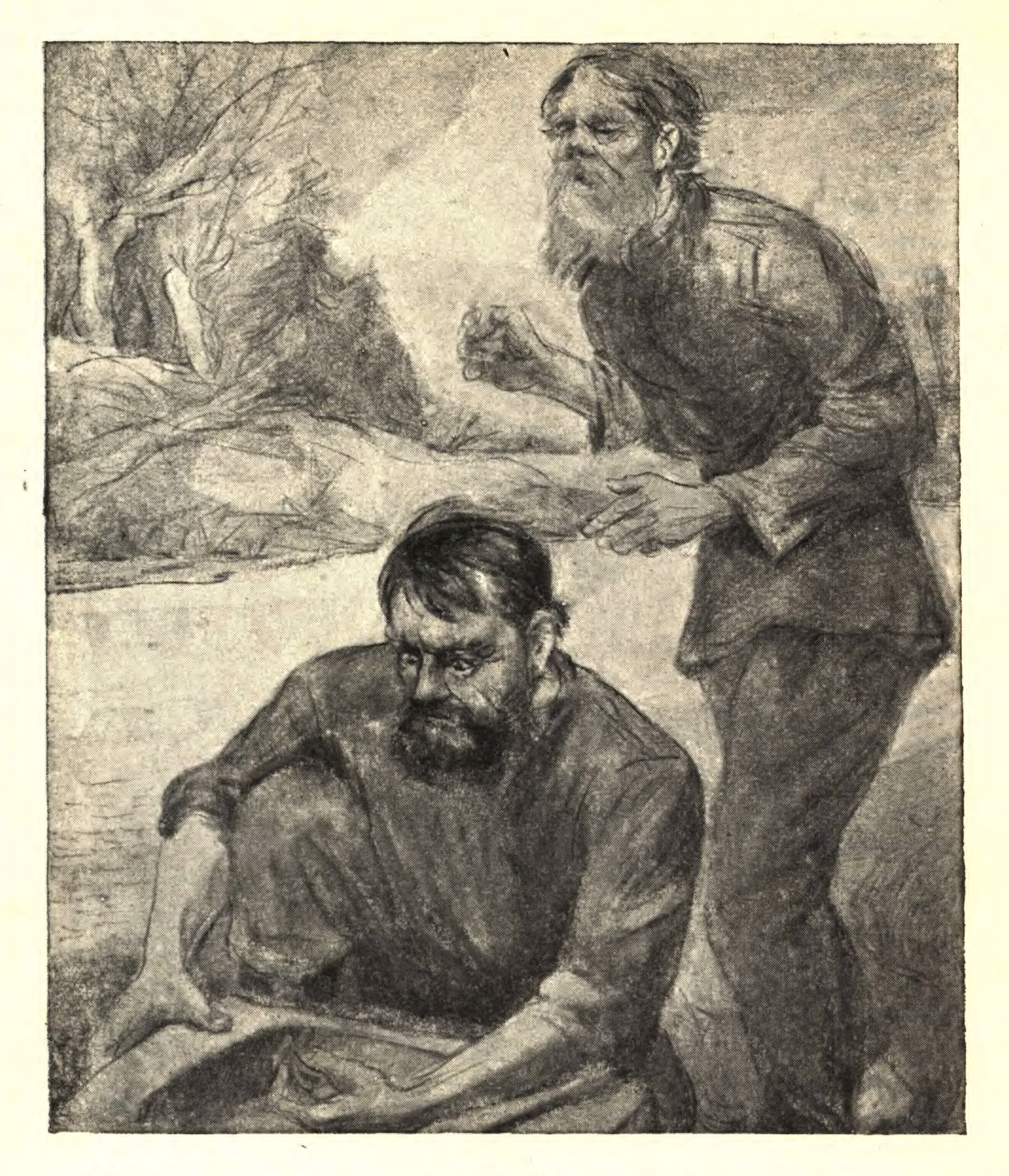
Дядя Митрий только усмехнулся.

— Вот что, дедушка, садись-ка рядком да поговорим ладком... Зачем нам ссориться? Ежели господь счастье посылает, так — как это самое дело понимать? Теперь я шатался на промыслах верст за двести, а тут вдруг золото дома, совсем, почитай, у себя в кармане... Ну, значит, от добра добра не ищут.

— Ах, Митрий, Митрий!.. Послушай ты старика, уходи. Добром тебе говорю.

— А ежели, например, я не послушаю? Перестань грешить, дедушка... Весь Растес меня же будет благодарить за дедушкино золото... Дедушка прятал, а дядя Митрий нашел. Так-то... Вот как все обрадуются.

Так старый дед и ушел ни с чем, а дядя Митрий опять принялся за свою работу. Но ему пришлось проработать напрасно целый день. Все пробы выходили неудачными. К вечеру дядя Митрий сам начал сомневаться в успехе дела. А ежели все это сказки с гусем, и дедушка Андриан только смеется над ним? Аннушка-то расскажет, что угодно, а старик хитрый. Но, с другой стороны, зачем ему было уговаривать его, дядю Митрия, уходить из Растеса? Свои кровные денежки отдавал, только уходи... Мысли в голове у дяди Митрия так и путались, как худая пряжа. Он то сомневался, то верил больше старого. Бывало так, что дядя Митрий вскакивал по ночам, — ему все слышалось гусиное гого-



Митрий так увлекся своей работой, что совсем не заметил, как к нему подошел дедушка Андриан.

танье. Вскочит и побежит посмотреть, где гуси кормятся. В деревне узнали об его поисках и при каждом удобном случае поднимали на смех.

— Эй, дядя Митрий, дедушкино золото растерял... Гуси склевали дедушкино-то золото.

На дядю Митрия в Растесе смотрели вообще, как на не настоящего мужика. Он с молодых лет отбился от настоящей мужицкой работы и все искал легкого хлеба. Да и дома ему не сиделось: то весной, когда гнали лес по Порожней, на плотах сплывет вниз и неизвестно где шатается все лето, то уедет куда-нибудь на промысла. Но раз в год он непременно приходил в свой Растес. Случалось и так, что дядя Митрий и появлялся босой, в одной рубахе. Отдохнет, покормится у брата Спиридона, а потом и опять ушел.

Сейчас ему повезло на золотых промыслах счастье, и он бросил работу, чтобы показать в Растесе свою лошадь, шубу и самовар. Целых двести верст тащился, чтобы похвастаться дома своим богатством. Дядя Митрий хотел погостить всего несколько дней, а тут дедушкино золото точно гвоздем приколотило.

Всем домом заправлял брат Спиридон, мужик обстоятельный и строгий. Он несколько раз предлагал Митрию разделиться, но тот и слышать ничего не хотел.

— Зачем нам делиться, любезный братец? Живите себе, все ваше и без того... Детей у нас с Дарьей нет, ну, значит, нечего и делить. А у меня все-таки есть родительский уголок...

Много неприятностей доставлял брат Спиридону, а теперь — в особенности. Ребята не давали прохода самоваром, большие подсмеивались над поисками золота.

— Ты уж, Спиридон, не скрывайся... Поди, вместе с Митрием-то гусей по реке гоняете?

— Дядя Спиридон, покажи самовар! — кричали ребятишки.

Кончилось тем, что Спиридон начал прятаться ото всех. Выведенный из терпения, он набрасывался на брата и начинал его гнать.

— Убирайся и с самоваром своим, и с шубой... Житья не стало.

— Любезный братец, потерпите малое время, — усовещевал его дядя Митрий. — Мало ли что болтают от глупости... Просто завидно, вот и болтают.

С другой стороны, Спиридона начала разбирать жадность. А вдруг Митрий найдет золото? Ведь вот где-то нашел же его на промыслах. Таким несуразным людям счастье. Не забыл Спиридон, что у Митрия

наличными было еще пятьдесят рублей, что по деревенскому счету составляло уже громадную сумму. На такие деньги можно целый год прожить без всякой заботы. Так и этак раздумывал Спиридон и решил терпеть. Да больше ничего и не оставалось.

А дядя Митрий все ходил с своим корытом и делал пробы. Недели две напрасно прошло, и он решил делать пробу уже по-настоящему. Устроить вашгерд — дело самое пустое. Взял три доски, сколотил их глаголем, подделал деревянное дно ступеньками, а сверху прикрыл железным листом, продырявленным, как терка. Такой вашгерд он устанавливал где-нибудь на берегу Смородинки и начинал работу. Сначала дядя Митрий добывал песок и наваливал его на железный продырявленный лист (грохот), потом Аннушка черпала ведром воду и лила ее на деревянный жолоб, установленный сливным концом над самым грохотом, так что струя воды падала прямо на песок. Дарья небольшой железной лопаткой мешала на грохоте песок, сбрасывая гальку в сторону. Вода сносила размытую глину и песок, и только часть оставалась на покатом ступенчатом дне вашгерда, где, в силу удельного веса, остается золото.

— Пускай машину в ход! — командовал дядя Митрий, подбрасывая песок на грохот. — Постарайтесь, умницы... Аннушка, понатужься. Красный платок тебе куплю.

Когда таким образом промывали на вашгерде пудов тридцать песку, дядя Митрий принимался «доводить золото». Струю, падавшую с жолоба, уменьшали, и дядя Митрий особенной щеточкой отделял скопившийся на дне вашгерда песок от так называемых шлихов, то-есть черного песочка, состоящего из мельчайших осколков железняка. В этом шлихе обыкновенно и встречается золото. Первые пробы на вашгерде тоже не дали ничего: золота не было и следа. Дядя Митрий падал духом, а на другой день начинал работу с новой энергией.

Из деревни сначала приходили смотреть на работу дяди Митрия, балагурили и качали головами.

— Не положил, — не ищи, дядя Митрий...

Потом всем это надоело, и приходил только один дедушка Андриан, сядет в сторонке и ждет доводки.

— Ничего нет, дедушка...

— Слава тебе, господи! — говорил старик каждый раз. — Пронеси, господи, тучу мороком...

У дедушки Андриана явилась надежда, что дядя Митрий ничего не найдет, и все останется по-старому.

V

В течение целого месяца дядя Митрий испытывал только одни неудачи, но это нисколько не уменьшало его энергии, а напротив, придавало даже бодрость...

— Тут оно, золото, только крепко сидит в земле, — уверял дядя Митрий самого себя. — Нет, брат, не уйдешь...

По расчетам дяди Митрия, золото должно было находиться по течению Смородинки или по выпавшим в нее с Ручьевой горы логам. Золотоносные россыпи всегда попадаются именно по логам и по течению небольших речек. Затем оставалась еще гора Отряхина, с которой выпадало две речки Безымянки, — и там могло быть золото. Сначала дядя Митрий хотел найти именно то самое место, где гуси глотали золотые крупинки, но, пробившись целый месяц напрасно, он решил его искать по логам. Рассуждение было простое: гуси находили золото, очевидно, на дне Порожней, а сюда оно было снесено откуда-нибудь с Ручьевой горы или с Отряхиной.

— Нет, шалишь! — говорил дядя Митрий с самим собою. — Сколько ни прячься, а от меня не уйдешь...

Разбирая причины своих неудач, дядя Митрий пришел, между прочим, к твердому убеждению, что просто отводит глаза дедушка Андриан. Чего ему сидеть попусту у вашгерда? Как только доводит золото, — старик уже торчит и глаз не спускает. Может быть, он и слово такое знает, что золото из глаз уходит, — тут оно, а его не видно.

— Вот что, дедушка, — заметил раз дядя Митрий. — Чего ты торчишь тут? Шел бы к себе на печку...

— Мне и здесь хорошо...

— Нет, в самом деле, уходи, дедушка. Добром тебе говорю.

— Что я, съем, что ли, тебя?

— Съесть не съешь, а все-таки оно того... Глаз у тебя тяжелый...

— А я все-таки буду сидеть... в шею не смеешь прогнать. Нет такого закона, чтобы дедушку да в шею.

— Ах, какой ты...

Дедушке Андриану самому начинало казаться, что стоит ему уйти, и дядя Митрий сейчас же найдет золото.

Это недоразумение кончилось тем, что дядя Митрий совсем не стал доводить золото при старике, а потом стал переходить с места на место, чтобы скрыться от упрямого старика, хотя последнее и трудно было

сделать. Дедушка Андриан присмотрелся к работе и точно знал вперед, где дядя Митрий будет делать пробу.

— Сидит, как ястреб! — ворчал дядя Митрий. — Ни себе, ни людям... Твое, что ли, золото-то, дедушка?

— А видно, мое, когда тебе не дается в руки...

— Может, ты и слово такое знаешь?

— Может, и знаю...

Дядя Митрий приходил в отчаяние. Напрасно проработал целый месяц, проел рублей десять, одной водки сколько с горя выпил, — и все ничего. Но теперь он решил производить настоящие разведки, как их делают на настоящих промыслах. Раньше он бросался с места на место без всякого толка, — тут пороет, в другом месте, в третьем, а теперь начал бить уже настоящие шурфы, то-есть продолговатые ямы, пока не доходил до песков. В каждом логу он выбивал три таких шурфа — один в вершине, другой в средине и третий в конце. Золото могло не попадать на вашгерд по двум причинам: или было очень мелко и тогда сносилось водой, или пески попадались мясниковатые, то-есть связанные глиной, и тогда его трудно было вымыть. Наконец, последний случай — крупное золото попадается иногда гнездами, а он все не мог найти такое гнездо. Правда, несколько раз попадались маленькие «золотинки», но они были до того ничтожны, что трудно было разобрать, золото это или не золото.

— Эх, кислоты нет... — жалел дядя Митрий. — Кислотой бы тронул,— золото и сказалось бы. А то и на зуб такую золотину не поймаешь.

Проработал дядя Митрий еще недели две. Добрые люди уже давно страдовали в поле, заготовляя сено на зиму. Спиридон ругался, что дядя Митрий удерживает Аннушку в такую пору. Пришлось за нее платить. Едва сошлись на двугривенном в день, — плата не слыханная в Растесе. К ильину дню народ опять собрался в свою деревню. Оказалось, что дядя Митя бросил работу и пьянствует уже несколько дней.

— Ты это что лодырничаешь? — удивлялся Спиридон.

— С горя, любезный братец... Подвел меня дедушка Андриян своим золотом. Посмеялся старичок над моей простотой... Вот я и закутил.

— Вольно тебе было слушать... Дедушка давно из ума выжил. А может, золото-то совсем не из гуся было... Забыл старик, али перепутал.

— Просто посмеялся над моей простотой... А я-то работаю, я-то стараюсь, я-то из кожи вылезаю. Земли изрыл пропасть... А сколько еще насмешек принял. Обидно ведь, когда все за дурака набитого принимают.

— Чего же тут обижаться... Оно того...

— Значит, по-твоему, я дурак?

— Дурак не дурак, а около этого.

Пьяный дядя Митрий ходил по всей деревне и жаловался на дедушку Андриана.

— Подвел он меня, старый колдун... Ах, как подвел!.. Прохарчился я насквозь... Деньгами проработал рублей с двадцать, новые сапоги износил, рубаху порвал, — всего не пересчитаешь. А сколько еще любезный братец Спиридон содрал с меня за Аннушку за целых две недели. Кругом меня окружили.

— Да, сделал ты ошибочку, — жалели мужики, — польстился на дедушкино золото.

Отгуляв ильин день в Растесе, дядя Митрий утром на другой день уехал. Жену Дарью он оставил у Спиридона.

— Пусть пока она у вас поживет, — говорил дядя Митрий брату. — Мне сейчас-то не до нее. А между прочим, оставляю ей на содержание пять целковых. По первому снежку приеду в Растес.

Это обстоятельство, именно, что дядя Митрий оставил жену в Растесе, навело всех на сомнение, а дедушка Андриан сказал прямо:

— Что-нибудь лукавит Митрий... неспроста он оставил Дарью до зимы.

Растесские бабы присоединились к этому мнению. Да, затаился дядя Митрий и всех хочет обмануть. Ведь жену-то раньше всегда с собой брал.

Лето прошло быстро, и наступила длинная, дождливая осень, когда в Растесе не было ни прохода, ни проезда. Когда начались заморозки, выпал первый снежок, бабы начали приставать к Дарье:

— Что это муж-то забыл про тебя, Дарьюшка? Загулял, видно... На промыслах-то бедовый народ.

— Ничего, приедет, — уверенно отвечала Дарья.

Установился санный путь, наступила зима, а дядя Митрий точно в воду канул. Спиридон начал ворчать на сноху:

— Вот еще дармоедку бог послал... Ступай к своему мужу, Дарья, а кормить тебя зря я не буду. Пусть муж кормит...

— А где мне его искать? Никуда не пойду...

Особенно доставалось Дарье от невестки Степаниды, которая попрекала ее каждым куском:

— Велики ли пять цалковых? По цалковому в месяц не придется, если считать.

Дарья отмалчивалась и тихонько ото всех плакала. Она верила, что муж вернется, но тяжело было ждать. Кончилось тем, что она ушла жить к дедушке Андриану. Старик жил с внуком Кузькой один в своей избушке и был рад, что Дарья поживет у него: женским делом и починит, что нужно, и сошьет, и варево сварит.

— Что же, того... — говорил старик. — Места хватит.

— Из-за тебя горе-то мыкаю, — жаловалась Дарья. — Кабы не твое проклятое золото, так муж не бросил бы меня в Растесе.

— Ну, что об этом говорить... Брось. Дело прошлое... Так я, не от ума тогда сболтнул.

Дядя Митрий приехал, когда его совсем перестали ждать. Это было незадолго до рождества, в самые морозы. Он приехал не один, а привез с собой целую партию золотопромышленников.

— Ну, теперь вы меня будете благодарить, — повторял дядя Митрий. — Вот как дедушкино золото поднимем, только дым пойдет.

Приехали сразу на четырех подводах. Был тут главный золотопромышленник, степенный старичок Иван Васильевич, были два штейгера, были опытные приисковые рабочие. Вся деревня всполошилась. Ничего подобного не случалось в Растесе.

Партия отдохнула денька два, а потом дядя Митрий повел их на разведки. У него были отмечены все места, где попадались «знаки» золота. Работа закипела. Мерзлую землю оттаивали кострами, а пробы промывали в избе. Иван Васильевич был доволен и хвалил дядю Митрия.

— Золото правильное, — повторял Иван Васильевич. — Можно будет работы с весны поставить...

— Уж на что правильнее, Иван Васильевич... Дедушкино золото, одним словом. Старичок-то вот как его скрывал...

Дедушка Андриан был страшно огорчен лукавством дяди Митрия и только погрозил ему:

— Не будет тебе счастья, Митрий... Зачем дедушку Андриана обманул, лукавец? Вот как отрыгнется дедушкино-то золото...

VI

На следующее лето Растес сделался неузнаваемым. Зимой Иваном Васильевичем была сделана заявка нового прииска, а к пасхе уже приехали горные чиновники делать отвод приисковой площади. Прииск был назван Дедушкиным.

Ввиду того что летом в Растес невозможно было проехать, то зимой были доставлены всякие припасы, разная приисковая снасть и партия рабочих в полтораста человек. До открытия работ строили на Смородинке приисковую контору, казарму для рабочих, а потом — плотину на Смородинке для будущей золотопромывальной машины «бутары». Екнуло сердце у старого дедушки Андриана, когда в лесу загремели топоры.

«Ох, мой язык всему виноват, — думал старик. — Ничего бы этого не было, кабы я тогда не сболтнул зря...»

Жаль было старику и векового леса, и тихой растесской жизни, и своего старого покоя. От новых золотых промыслов он ничего хорошего не ждал. Лучше бы по-старому-то...

Дядя Митрий получил полтораста рублей от Ивана Васильевича и теперь состоял при нем в качестве главного советника. Пока Иван Васильевич квартировал у Спиридона, и дядя Митрий все похвалялся перед братом:

— Огребайте денежки, любезный братец, да меня лихом не поминайте. И за квартиру получаете, и за сено, и за всякую услугу, а невестка Степанида Ляксевна за свою бабью работу в лучшем виде получит. На что Аннушка, и той перепадет, где гривенник, а где целый двугривенный. Вот каков дядя Митрий.

Дядя Спиридон, действительно, был доволен и счастлив. Он зашибал деньги на всем и высчитывал про себя, сколько бы он нажил раньше, в прежние года, если бы продавал сено, дрова, овес и все остальное. Получался такой убыток, что дядя Спиридон только кряхтел. Эти мысли омрачали для него всякую радость. Помилуйте, всю жизнь дураком прожил...

Зато Степанида была счастлива без конца, охваченная чисто бабьей жадностью. Раньше-то она и в глаза никаких денег не видала, — откуда взять бабе деньги в деревне? — а тут на, получай за всякую малость. Она и стряпала на Ивана Васильевича, и стирала, и продавала все, что составляло ее бабье хозяйство, — молоко, яйца, сметану, масло, лук, картошку. Потом расторговалась запасенными на случай новинами холста, крестьянской пестрядью, — покупали нарасхват рабочие. Даже по ночам ей приходилось мало спать: нужно было обшивать приисковых рабочих. Кажется, было бы десять рук, и то нехватало бы. Другие растесские бабы тоже убивались над работой, не покладая рук.

— Говорите мне спасибо, тетки! — хвастался дядя Митрий. — Вот какое я вам дедушкино золото показал...

— И то молим за тебя бога, Митрий Кондратьич. — Не мужик ты, а прямо угодник нам, глупым бабам. Через тебя, можно сказать, свет увидали. Жили дуры дурами и не знали даже, какие такие деньги на свете бывают...

— То-то, милые... Уж вы постарайтесь.

Дядя Митрий каждый день был под хмельком, а тут еще все наперебой угощают, только пей. Кажется, мертвый и тот не утерпел бы...

Только один дедушка Андриан был недоволен, как дядя Митрий ни ухаживал за ним.

— Дедушка Андриян, а я тебя устроил в сторожа на приисковую контору, — говорил дядя Митрий. — Работы никакой, да еще харчи хозяйские. Лежи себе на боку да деньги получай... Карауль свое золото.

— Вот у тебя, Митрий, все деньги да деньги на уме, а того ты не понимаешь, что к деньгам свою привычку надо иметь. Как раз сбесится народ в Растесе от твоих денег.

Зимой и дедушке Андриану перепало малую толику. Он ловил под порогами рыбу и продавал ее. Охоч был Иван Васильевич до свеженькой рыбки, особенно по постным дням, да и другие тоже — приисковый расходчик, писарь, штейгера.

После пасхи все с нетерпеньем стали ждать полой весенней воды, когда вскроются реки и земля оттает. Как потеплело, Иван Васильевич переехал к себе в контору, а с ним вместе и все другие служащие. Рабочие поселились в казарме. Дядя Спиридон считал все это прямым убытком себе и ворчал с утра до вечера. Наживалась теперь одна Степанида, и дядя Спиридон завидовал жене. Он несколько раз пытался отнимать у нее бабьи деньги, но Степанида поднимала такой вой и крик, что Спиридон отступался.

— Да ты, никак, совсем сбесилась, Степанида? — удивлялся он.

— Ничего не сбесилась, а мои деньги не тронь. Уйду в контору к Ивану Васильичу стряпкой, — только и видел... будет мне гнуть спину на тебя. Пять целковых жалованья сулит Иван-то Васильич...

Иван Васильевич, действительно, звал Степаниду к себе, но она не пошла, не желая рушить своего крестьянского хозяйства.

Выведенный из терпения, Спиридон раза два принимался колотить жену, чего раньше никогда не бывало, а Степанида бегала жаловаться дедушке Андриану.

— А ты ему отдай деньги-то, — советовал старик, — вот и не будет греха.

— Ни в жисть не отдам, — повторяла Степанида. — С чего это я свои-то деньги буду ему отдавать? Он и то по всем углам обшарил, все ищет мои деньги...

Открытие настоящих работ замедлилось благодаря тому, что Смородинка разыгралась и прорвала плотину. Пришлось поправлять заново, при чем рабочие должны были работать дни и ночи. Плотина строилась по указаниям дяди Митрия, и дедушка Андриан радовался.

— Не хочет отдавать своего золота Смородинка,— объяснял он. — Вот как надулась и забурлила...

Но плотину исправили, и работы начались. Еще с последним снегом были сделаны подробные разведки зототоносной россыпи шурфами, а потом снят был верховник, то-есть верхний слой пустой породы, состоящий из глины и так называемых шурфов. Золотопромывальная машина была поставлена у самой плотины, чтобы вода из шлюза прямо попадала в нее. Эта сибирская бутара имела самое простое устройство. Главную часть машины составляла громадная железная воронка, сделанная из продырявленного котельного железа. Она была утверждена на особом станке горизонтально и вращалась на железной оси при помощи конного привода. В эту воронку засыпались пески, а сверху падала сильная струя воды. От вращения пески промывались водой и падали на длинный деревянный шлюз, где их «доводили» два раза в день, отмучивая шлихи и заключавшееся в них золото. Когда бутара работала, стоял страшный грохот от пересыпавшихся в железной воронке крупных камней. На конном приводе работал Кузька, которого дядя Митрий называл «главнокомандующим».

— Ну, главнокомандующий, запущай свою музыку! — кричал каждый раз дядя Митрий, проходя мимо.

Кроме больших хозяйских работ, были открыты и маленькие, так называемые «старательские». Об открытом золоте на Смородинке слава уже разошлась, и маленькие артели старателей приходили каждый день. Каждой такой артели отводилась делянка в десять квадратных сажен, при чем, по условию, все добытое золото должно быть сдано хозяину прииска, конечно, за известную плату. Иван Васильевич назначил по три рубля за золотник. Сам он сдавал все золото в казну по четыре рубля. Старатели работали на вашгердах и жили в балаганах и землянках. По вечерам у каждого балагана весело горели огни, слышались песни и пиликанье гармоник. Приисковый люд свою нелегкую работу переносит с замечательной бодростью. В солнечные теплые дни прииск казался гро-

мадным табором. Растесские не умели сначала работать, а потом выучились у старателей и тоже начали брать делянки. Даже Спиридон решил попытать счастье, хотя из этого, кроме огорчения, ничего не вышло. Он завидовал всем, у кого золото лучше, и ворчал без конца, высчитывая понесенные убытки. Если рядом артель заработала в сутки три рубля, а он — всего два с полтиной, то выходило прямого убытка целый полтинник. Работавшие с ним Степанида и Аннушка тоже были недовольны приисковой работой, потому что приходилось пачкаться с приисковой глиной. Скоро Спиридон бросил свою работу и обругал брата Митрия.

— Это ты меня подбил брать делянку, Митрий... Рублей с десять взял одного убытку, а все из-за тебя.

— Хорошо... Если уж на то пошло, так я тебя поправлю, любезный братец, — советовал дядя Митрий. — Есть одна штучка, уж самая верная...

— Ну, говори?

— Открывай кабак... Одних мужиков на прииске больше двухсот, да считать своих растесских. Сам я думал этим делом заняться, да Иван Васильич останется без меня, как без рук. Только никому не сказывай, что я тебя научил, особливо — Иван Васильичу. Съест он меня заживо... Не любят хозяева, когда рабочие начинают пропиваться и дебоширничать...

Через две недели в Растесе появился кабак. Это был первый кабак, как стояла деревня. Раньше тайком приторговывал водкой богатый мужик Аким, а тут — целый кабак. Приисковый народ так и повалил к Спиридону, а по праздникам у кабака была настоящая толкучка. Спиридон начал получать барыши, но все-таки ворчал на брата, зачем он раньше его не научил: сколько времени даром пропущено, а ведь каждый день убыток.

Пришел в новый кабак и дедушка Андриан, выпил стаканчик водки и проговорил:

— Вот от нее, от самой этой водки, и весь грех вышел с дедушкиным золотом.

VII

Золото на дедушкином прииске шло хорошее, и в первое лето Иван Васильевич намыл около трех пудов. Содержание, собственно, в песках было небольшое, всего около тридцати долей на сто пудов песку, но

важно было то, что россыпь была ровная, пески лежали неглубоко, и вода для промывки под рукой. Эти последние обстоятельства имели очень важное значение и делали разработку выгодной. Ввиду этого Иван Васильевич оставил даже зимние работы, где промывка шла в теплых зимних корпусах гретой водой.

В течение какого-нибудь года Растес сделался неузнаваемым. Появились новые избы, на старых — новые крыши; накупили лошадей, бабы начали щеголять в ситцевых кофтах и резиновых калошах, а мужики то и дело наведывались к дяде Спиридону. Одним словом, все пошло по-новому, чего так боялся дедушка Андриан. Правда, на зиму Растес сильно затих, но и затих не попрежнему. У всех на языке только и было разговора, что о золоте. Своя крестьянская домашняя работа валилась из рук. В лесорубных куренях никто не хотел работать, а все ждали опять весны, когда откроется прииск. Один дедушка Андриан охал попрежнему, с той разницей, что остался на зиму караулить приисковую контору. Он жил на прииске и попрежнему ловил рыбу в Порожней. Старик только качал головой, глядя на то, что творилось в Растесе. Один кабатчик Спиридон чего стоил! Совсем помешался мужик на барышах и во сне и наяву видел только свои деньги. Жадность довела до того, что он начал давать водку однодеревенцам в долг, под летнюю работу, конечно, выговорив себе большие проценты. Пей, а там сосчитаемся...

На следующее лето рабочих набралось до трехсот человек, и золота было намыто уже пять пудов. Особенно посчастливилось старателям. Человек пять из растесских мужиков превратились, по прежнему мужицкому счету, в богачей, потому что в одно лето заработали чуть не по тысяче рублей. Благодаря этому, все кинулись пытать счастья на промысловой работе. Тех, кто разорился, не считали, а видели только богатых, и только на них все указывали.

На третье лето было намыто всего около пуда. Россыпь выработалась. Иван Васильевич решил, что в Растесе больше делать нечего, и прекратил работу.

— Все дедушкино золото вычерпали, — шутил он, прощаясь с растесскими мужиками. — Теперь ищите бабушкино золото...

Весь Растес приуныл, а радовался один дедушка Андриан. Беда кончилась, все пойдет по-старому. Так думал дедушка Андриан, но не так-то вышло. Дедушкин прииск закрылся, Иван Васильевич уехал, рабочие отхлынули в другие места, про которые прошла слава. На Урале каж-

дый год открывают где-нибудь новые места с богатым золотом, и промысловые рабочие, привыкшие к своему делу, бродят с места на место в поисках за неведовым счастьем. Из растесцев ушло человек пятнадцать, с дядей Митрием во главе. Он им сулил чуть не золотые горы. С мужиками ушло несколько женщин, которым нравилась бойкая приисковая жизнь. Оставшиеся в Растесе скучали, как после тяжелого похмелья. Начали искать золото по другим местам: не на одной же оно Смородинке спряталось! Главными затейщиками были богатые мужики, — вместе с деньгами у них явился и азарт к легкой наживе. Ручьева гора была кругом окопана, но золота не нашлось.

Всего удивительнее держал себя Спиридон. Он попрежнему держал свой кабак, хотя прежних покупателей не было и в помине. Это не мешало Спиридону сидеть за своей стойкой, сердиться и высчитывать убытки. Жена Степанида ушла от него, благодаря побоям, Спиридон всячески выколачивал из нее деньги и ничего не мог добиться. В одно прекрасное утро Степанида исчезла, бросив мужа. Детей у них не было, и ее ничто не удерживало дома. По слухам, она жила где-то на промыслах в стряпках, о чем давно мечтала.

— Как же это ты, Спиридон, ошибся с женой-то? — спрашивал дедушка Андриан.

— А ну ее... Будет, покормил.

Жадность с каждым годом у Спиридона все увеличивалась. Когда, года через четыре, вернулся в Растес дядя Митрий, больной и нищий, Спиридон его не пустил к себе даже на глаза.

— Откуда пришел, туда и ступай, — сказал Спиридон. — Мало ли дармоедов шляется по промыслам...

Дядя Митрий поселился у дедушки Андриана. Он застудил на промысловой работе ноги и едва ходил. Дарья где-то на промыслах умерла.

— Эх, Митрий, Митрий, говорил я тебе, — ворчал дедушка Андриан. — Впрочем, что тут говорить: дело прошлое. Подвел ты меня тогда дедушкиным золотом... А пока что, живи. Куда тебе, безногому, деться... Весь наш Растес от золота-то забеднел. Мужики привыкли к легкому хлебу и шляются по промыслам, а дома старики да малолетки остались. Вот какое дело-то вышло...

Дядя Митрий молчал.

Под землей

I

Наступил короткий зимний вечер. Падал мягкий, пушистый снежок. Целые две недели страшный бушевал буран, сменившийся оттепелью. Но в избушке Рукобитова было и сыро, и холодно. Пс вечерам долго сидели без огня, сумерничали, чтобы напрасно не изводить свет, который давала дешевенькая сальная свеча. Дарья, жена Рукобитова, в потемках перемывала горшки да плошки, а бабушка Денисиха вечно сидела на своей лавке с прялкой и без конца вытягивала нитку из кудели. Веретено мерно и ровно жужжало в ее старческих руках, точно громадная муха. Это веретено занимало тощего, вечно голодного котенка, который напрасно старался поймать его лапой, и внучка Михалку, который от нечего делать валялся в сумерки на полатях. Бабушка Денисиха любила поворчать, вернее сказать, — от старости начала думать вслух. Так и теперь под жужжанье своего веретена она говорила:

— Вот и слава богу и до рождественского сочельника дожили... Добрые люди сегодня-то до вечерней звезды не едят...

— А нам и завтра разговеться будет нечем... — сердито отозвалась от своей печки Дарья. — Одна картошка осталась, да и той в обрез хватит на всех.

В руках Дарьи горшки уныло звенели, стукаясь друг о друга, точно и они жаловались на голод. А тут еще Михалко с своих палатей жалобным голосом несколько раз повторял:

— Мамынька, звезда-то уж взошла... Дай хлебца...

— Отстань, смола! — ворчала Дарья, глотая слезы. — Вот ужо отец придет...

Рукобитовы вообще жили бедно, а нынешний праздник застал их совсем голодными. Случилось это, благодаря бушевавшему целых две недели бурану, когда нельзя было работать на промыслах. Праздник являлся горькой обидой, освещая огнем тяжелую домашнюю нищету.

— У штегеря Мыныкина третьего дня барана закололи, — рассказывал Михалко с полатей. — Лавочник привез с ярманки целый стяг говядины да десять свиных туш... Ей-богу! Своими глазами видел. Свиньи-то жирные-прежирные, кожа лопается от жиру... Уж лучше этого нет, как шти со свининой... Одного жиру в горшке целый вершок накипит.

— Не мы одни бедуем, — думала вслух бабушка Денисиха. — У других-то и картошки нет, а у тебя свинина на уме... Глупый ты, Михалко.

— И то глупый, — ворчала Дарья. — Без того тошно, а он еще выдумки выдумывает... Вот отец придет, может што и раздобудет к празднику в лавочке.

«Задолжали мы в лавочке-то по горло... — думала бабушка Денисиха, вздыхая. — А лавочники ноне немилостивые...»

— Мамынька, запали свечку... — просил Михалко.

— Отвяжись, сера горючая!

Темно. Жужжит веретено у бабушки, точно и оно жалуется на плохие времена. Избушка в буран совсем выстыла, а затоплять пустую печь совестно. Михалко кутается в рваную шубенку и чутко прислушивается к каждому шороху на улице. Вот придет отец и что-нибудь принесет. Уж отец добудет! С тем пошел, чтобы не вернуться с пустыми руками.

— Идет!.. — крикнул Михалко, заслышав скрип снега на улице.

Дарья тоже услышала и различила, что муж идет не один.

«Кого еще нелегкая несет об этакую пору?» — сердито подумала она, зажигая сальный огарок.

Шаги приближались. Вот они уже во дворе, вот заскрипели ступеньки на крыльце, вот распахнулась дверь... Вошли два мужика. Один, отец Михалки, молча положил на стол ковригу ржаного хлеба, а другой остался у двери.

— Ну, вот вам и разговенье, — проговорил отец Михалки. — Яков, проходи да садись. Гость будешь...

Дарья не могла удержаться и тихо заплакала.

Рукобитов и его гость походили друг на друга, как все промысловые рабочие. Среднего роста, худощавые, с жиденькими бородками мочального цвета, в рваных полушубках, запачканных желтой приисковой гли-

ной, в разношенных валенках. Заслышав всхлипывания жены, Рукобитов рассердился.

— О чем хнычешь-то? — крикнул он. — А того не знаешь, что утро вечера мудренее...

— Я ничего не говорю, Иван Герасимыч, — оправдывалась Дарья, сдерживая слезы. — Только обидно, што на дворе праздник, а у нас...

— Перестань, жена, — уже ласково проговорил Рукобитов: — не радуйся, — нашел, не тужи, — потерял... А розговенье мы себе добудем. Верно говорю, Яков?

— Добудем и розговенье... — мрачно ответил Яков, почесывая затылок.

— Ну-ко, хозяйка, свари нам картошки, — командовал Рукобитов. — Закусим — и того... да... пойдем, значит, свое розговенье добывать. — Помолчав немного, он продолжал: — Вся причина, значит, в штегере Ермишке... Все от него вышло... Привязался он к нам, пьяница... И сегодня пьяный по улицам ходил. К нам приставал, просил, просил рубль на водку, а то, говорит, вы меня попомните.

— Ох, господи, господи... — стонала бабушка Денисиха. — Вот в глазах стыда-то нет. Рупь-целковый... а? А где его взять?

— Ничего, бабушка, мы и без него обойдемся, — говорил Яков. — Мы и без него обойдемся. Пужает нас новым начальством, грит, новый управитель анжинер на промысла назначен, и все будет строго. Ему это наруку, пьянице... Подлаживается к начальству. А кто ему даст на водку, он ничего не видит и не слышит, а нас гонит с работы.

— Змей он, и больше ничего, — сердился Рукобитов.

Дарья затопила печь и приставила к огню горшок с картошкой. Она поняла, о каком разговенье говорит муж и вперед жалела Михалку, которому придется проработать в шахте, может быть, всю ночь. Велик ли еще мальчонко, всего-то десятый год пошел. Ах, бедность, бедность!

Рукобитов с Яковом делали необходимые приготовления. Внимательно осмотрели плетеную из черемухи корзину, в которой поднимали золотоносную руду из шахты, еще более тщательно осмотрели десятисаженный канат, на котором эту корзину спускать и поднимать. Все было в порядке.

Михалко тоже понимал, в чем дело, но молчал.

Горячая картошка была съедена живо. Дарья почти всю свою порцию отдала Михалке.

О том, куда все шли, никто не говорил. Это уж такая примета, что нехорошо болтать вперед о таком деле, которое еще неизвестно чем кончится. Рукобитов даже пожалел, что вперед похвастался будущим разговеньем. Вон Михалко, кажется — не велик, а, небось, молчит, точно его дело и не касается.

Когда уходили мужики, Дарья сунула за пазуху Михалке большую краюшку хлеба.

II

Выйдя из избы, компания разделилась: Яков взвалил на себя всю «снасть», то-есть канат, корзину, лопаты, кайло, небольшой ломик, топор, и пошел направо, чтобы пробраться к шахте задворками, где никто не увидит, а Рукобитов с Михалкой отправились прямо селеньем.

— Убродисто теперь задворками-то, — заметил Рукобитов. — Вон сколько снегу намело.

Они прошли улицу, спустились к заводской плотине, ниже которой горбились крыши длинных корпусов золотопромышленной фабрики, и пересекли небольшую площадку, на которую выходил господский дом, где жил инженер, управляющий промыслами. Вся фабрика тонула в темноте, не дымила высокая железная труба, а господский дом был ярко освещен.

— Светленько живет новый наш анжинер... — заметил Рукобитов. — Вон сколько огня запалил.

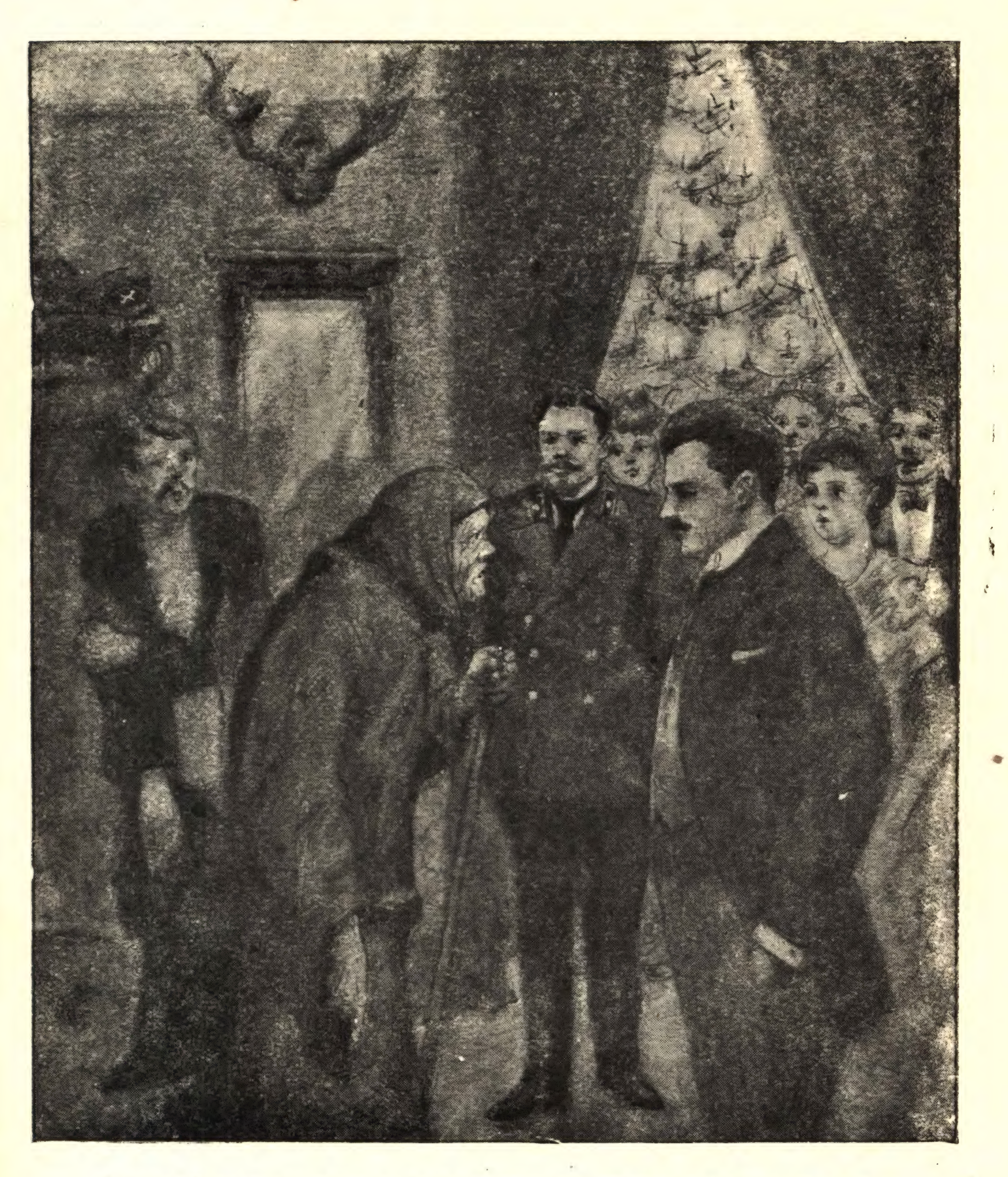
Михалко молчал. Он с трудом шагал за отцом в своих разношенных валенках, болтавшихся на ногах. После сытой еды его клонило ко сну. Отец это заметил и старался его развлечь разговором.

— Ночку сегодня поработаем, Михалко, бог даст, добудем пудиков двадцать руды... Потапыч обещал вперед дать деньжонок. Ну, завтра и купим свинины... Любишь свинину? То-то... Такие шти мать нам запузырит, что жиру и не продуешь.

— Я люблю куском макать в жир... Скусно.

— Вот-вот... Уж на што скуснее. Дух какой по всей избе пойдет от горячих-то штец.

Глухоозерские золотые промысла занимали в среднем Урале громадную площадь почти в шестьдесят квадратных верст. Они существовали уже больше ста лет и славились как одно из богатейших месторождений золота. Земля принадлежала казне, и прежде золото разрабатыва-



В переднюю выскочили все гости, но старуха не смутилась.

лось казной, но в последние сорок лет этот способ добычи золота нашли невыгодным, и промыслы были отданы в долгосрочную аренду одной компании. На промыслах были добыты сотни пудов золота, а селенье, раскиданное по берегу Глухого озера и по течению вытекавшей из него речонки, отличалось большой бедностью. Добытые богатства не оставались на месте, а уходили куда-то в Питер, где жили члены компании.

Население было все промысловое и жило только той работой, которую давала компания. Но, к сожалению, население увеличивалось, а работы не прибавлялось. Особенно тяжело приходилось по зимам, когда открытые работы, где золото вымывалось из золотоносных песков, прекращались, и продолжали действовать одни шахты, где разрабатывалось жильное золото, то-есть золото, заключенное в кварцевых прослойках.

Между прочим, компания отдавала от себя в аренду небольшие участки частным предпринимателям, то-есть своим же рабочим. Но получить такой участок бедному рабочему, как Рукобитов или Яков, было очень трудно. Нужда заставляла по зимам прибегать к тайной добыче золота, то-есть золотоносного кварца, который сбывался состоятельным арендаторам, а уж те выдавали его за свой и промывали на компанейской фабрике. Именно таким арендатором был Потапыч, у которого уже несколько лет работала арендованная у компании шахта «Рублиха» и которому продавали тайно добытый золотоносный кварц.

Рукобитов и Михалко вышли на берег Глухого озера, а потом свернули на лесную дорожку, по которой зимой возили дрова. Михалке сегодня казалось, что уж очень далеко итти до их тайной шахты, точно кто ее отодвинул. Снег продолжал падать, и ночная темнота точно сгущалась. Рукобитов несколько раз останавливался и прислушивался. На грех мастера нет, и можно было встретиться с кем-нибудь из штейгеров, преследовавших тайную разработку золотоносных жил.

— Здесь... — шопотом проговорил Рукобитов, останавливаясь.

В стороне от дороги рос тощий еловый лесок, жидкий березняк и кусты рябины. Приходилось дальше брести прямо по снегу без всякой дороги. Рукобитов заравнивал за собой следы сломанной еловой веткой.

Они пришли к шахте не прямо, а сделали, на всякий случай, обход, путая оставшиеся в снегу следы.

— Здесь... — опять шопотом сказал Рукобитов, рассматривая свежие следы по снегу. — Э-э, Яков-то нас обогнал. Он прямиком прошел...

Действительно, Яков уже сидел у шахты, поджидая компаньонов. Он страшно устал и встретил их молча.

— Садись, Михалко, надо малость передохнуть, — предлагал шопотом Рукобитов.

Место для тайной шахты выбрано было очень искусно, среди мелкой лесной поросли, так что можно было пройти в двух шагах и ничего не заметить. А сейчас, кроме того, все было завалено кругом глубоким снегом.

— Эх, кабы не буран... — жалел Яков, почесывая в затылке. — Сидели бы сейчас в тепле да в сухе...

Рукобитов молчал. Что уж тут говорить. Он поднялся и начал расчищать снег, которым было занесено отверстие шахты. Это была так называемая шахта-дудка, то-есть круглая, без деревянных крепей. Такие шахты устраиваются только зимой, когда смерзшаяся земля не грозит обвалом. Обыкновенная шахта напоминает колодец, стенки которого от обвала защищены деревянным срубом; но где же бедному рабочему добыть такую роскошь. Нехватит силы. Конечно, работа дудками представляет собой большие опасности и преследуется горными законами; но бедные люди не писали этих законов.

Работа шла в темноте. Снег был срыт. Яков разыскал спрятанный в леске деревянный ворот, то-есть деревянный валик с железной ручкой «ходивший» на двух деревянных подставках, как в деревенских колодцах. Круглое отверстие шахты-дудки было прикрыто хвоей, чтобы не замело снегом.

Работали молча. Скоро над шахтой был поставлен ворот, а к нему прикреплен канат.

— Ну-ка, сперва я спущусь, — говорил Рукобитов. — Нет ли где обвалу... Михалко, ты озяб? Ничего, брат, под землей завсегда вот как тепло...

Еще раз осмотрели канат. Как бы не оборвался грешным делом.

— Ничего, хоть толстого купца спущай, — решил Яков.

К концу каната была прикреплена корзина. Когда канат был намотан на ворот, Рукобитов встал одной ногой в корзину и скомандовал:

— Ну, Яков, действуй!..

Канат начал медленно развиваться, и корзинка пошла книзу. Шахта-дудка была настолько узка, что Рукобитов время от времени придерживался руками за ее стенки. Кругом было совершенно темно, а приходилось спускаться в глубину десятки сажен.

— Стоп машина! — крикнул Рукобитов, когда корзина стукнулась о дно.

Он зажег сальный огарок и осмотрелся. Все оставалось в том положении, как и две недели тому назад. Стенки дудки держались крепко. Рукобитов в двух местах прикладывался ухом к этим стенкам и прислушивался, не течет ли где почвенная рудниковая вода, которая затопляет и настоящие, дорогие шахты.

На дне шахты оставалась еще неподнятая наверх кварцевая руда. Значит, не успели убрать. А в правом боку дудки шло маленькое отверстие, в которое «собаке пролезть». Это был так называемый «забой», или, по ученой терминологии, штрек. Золотоносные кварцевые пласты не падают вертикально, а всегда под углом, и разработка их производится при помощи таких штреков.

В дудке Рукобитова, конечно, не могло быть и речи о правильно устроенном штреке, то-есть с деревянным потолком на подпорках из бревен и с деревянной обкладкой стенок, чтобы земля не осыпалась. Дудки делаются круглыми, чтобы не обкладывать деревом, а забои устраиваются самые узкие с той же целью. Взрослому мужику в такую нору, конечно, не пролезть, а поэтому посылают туда мальчиков-подростков. Конечно, горными законами все это предусмотрено и строго воспрещено, как угрожающее жизни, но горькая нужда поневоле обходит всякие законы. В свое время Рукобитов сам работал в таких забоях, а теперь посылал своего сына Михалку.

— Ничего, бог не без милости, — утешал он себя, поднимаясь наверх в корзинке.

Вернувшись наверх, Рукобитов проговорил:

— Тепло тебе будет в забое, Михалко... Под землей-то, брат, не мокнешь, не сохнешь, не куржавеешь. А жила разрушистая, только тронь ломом, — сама крошится.

Когда Михалко уже поместился в корзине, отец дал ему еще одно наставление:

— Вот что, Михалко: будешь работать, а сам слушай, не зажурчит ли вода. Понял? На рудную воду можешь наткнуться, и всю шахту затопит. Потом опять же смотри в оба, штобы не попасть на песок-плывун. Он еще похуже воды будет... Воду можно откачать, а песок все засыплет.

— Без тебя знаем... — довольно грубо ответил Михалко, потому что страшно хотел спать.

На работе Михалко принимал грубый тон, подражая настоящим большим мужикам. Так и сейчас, влезая в корзину, чтобы спуститься в дудку, он что-то ворчал себе под нос, а потом проговорил:

— Вы у меня тут смотрите, не оборвите веревку-то...

— Уж дела не подгадим, Михалко, — успокаивал Яков, крепко придерживая железную ручку ворота. — А вот ты нам к празднику жилки наковыряй, штобы золота побольше было...

Михалко сердито посмотрел на него и даже плюнул в сторону.

— Ума у тебя нету, Яков...

— Н-но-о?!

— Верно тебе говорю... Што ты сказал-то, ежовая голова? Когда охотники на охоту едут, так им што говорят добрые люди? «Штобы вам не видать ни шерсти, ни пера»... А ты: давай больше золота!

— Правильно, Михалко! — похвалил Рукобитов. — А ты, Яков, немножко не того. Напрасное слово, значит, сказал.

Необходимая для работы «снасть», то-есть небольшой железный лом, кайло и железная лопата с короткой ручкой, была уложена в корзинку, и Михалко начал спускаться в темную пасть дудки. Налегая всей грудью на ворот, чтобы не тряхнуть корзины, Яков проговорил:

— Пуда с полтора мальчонко вытянет...

Когда корзина была в половине дудки, Рукобитов наклонился над ее отверстием и крикнул:

— Михалко, а ты, гляди, грешным делом, не засни в забое-то... Тепло там, как раз сон подморит.

Из глубины дудки детский голос ответил:

— Вы там не засните наверху-то... Да огоньку разложите. Когда вылезу, так погреться надо.

— Ладно, ладно... И свечку береги, Михалко. Другой-то нет...

— Без тебя знаю...

— С богом, со христом, Михалко.

Спуск продолжался недолго. Когда корзина опустилась на дно, канат сразу ослабел. Рукобитов все время смотрел на дудку и успокоился только тогда, когда глубоко под землей затеплился слабый огонек.

— Надо огонек разложить, как Михалко наказывал, — решил Яков. — Вылезет из дудки, обогреться захочет...

— А кабы кто не увидал огня-то...

— Ну, кому его видеть... Праздник на дворе, все по своим углам сидят. Да и нам погреться бы надо, а то вот как студено... Одежонка-то дыра на дыре.

— И то студено... — согласился Рукобитов, почувствовавший холод только теперь.

Чтобы со стороны не было видно огня мужики выкопали в снегу глубокую яму и на самом дне устроили небольшой костер. Из снегу же была устроена стенка — защитка от ветра. Кроме того, Яков кругом ямы натыкал хворосту.

— Оно куда способнее за ветром-то посидеть, — говорил он, протягивая над огнем окоченевшие руки. — А который человек захолодает, так ничего он не стоит...

Они разговаривали вполголоса, точно боялись кого разбудить. Время от времени Рукобитов подбегал к дудке и прислушивался, что там делается. Прошло, по крайней мере, полчаса, пока веревка на вороте не дрогнула, а из дудки донесся детский голос:

— Подымай!..

Первая корзина принесла немного. Кварц был хороший для золотоносной жилы: ноздреватый и ржавый от железных окислов, но видимого золота не оказалось.

— Жила разрушистая, — заметил Яков. — Легко ее Михалке добывать...

— Пуда с три наберется кварцу... — соображал вслух Рукобитов, опоражнивая корзину.

Вторая корзина тоже не принесла ничего особенного, и Яков, сидя около огонька, только почесывал в затылке. Эх, напрасно давеча глупое слово сорвалось насчет золота...

Добытый кварц они уносили в кусты и заваливали снегом. Мало ли что может случиться!.. Тот же штейгер Ермишка, что бы выслужиться, с пьяных глаз начальство подведет. Ему, оголтелому, все равно...

Мужикам было совестно, что они наверху сидят без дела, а Михалко работает один за всех.

Когда поднимали пятую корзину, Михалко что-то кричал со дна дудки, но разобрать ничего было нельзя. Разбирая корзину, Яков вдруг ахнул. Схватив кусок кварца фунта в два, он подбежал к огню и с жадностью принялся его рассматривать. Рукобитов подошел, посмотрел на кварц и проговорил:

— Вот так штука...

— Да-а... Точно плюнуто золотом-то в кварц. Ах,ты братец ты мой...

Взвесив камень на руке, он прибавил:

— Золотника с два золота будет... Потапыч на худой конец целковых пять отвалит.

— Держи карман шире... Отвалит! Не таковский он человек. Ну, как-никак, а Михалко нам разговенье добыл...

Работа шла уже часа три, и по-настоящему следовало бы итти домой. Но мужиков охватила жадность. В жилах золото часто попадается так называемыми гнездами, и, очевидно, Михалко попал на такое гнездо, и его следует выбрать до конца.

— Михалко, постарайся! — кричал Яков, спуская в дудку пустую корзину. — Бог счастья послал...

Не упели еще спустить корзину, как Яков вдруг насторожился. Он расслышал, как где-то тявкнула собака.

— Слышал? — шопотом спрашивал он Рукобитова.

Лай повторился.

— Это Ермишка... — решил Яков. — Ах, напасть какая! Это его собачонка Куфта тявкает. Он ее выучил по следу нашего брата — хищников разыскивать... Да не идол ли!..

Лай приближался. Куфта вела по следу прямо к дудке.

— Руби канат! — командовал Рукобитов, засыпая огонь снегом.

Канат был обрублен и упал на дно дудки. Рукобитов наклонился над ее отверстием и крикнул:

— Михалко, начальство накрыло!.. Не подавай голосу... А потом мы тебя вызволим. Погаси огонь..

— Ладно, — ответил детский голос из-под земли.

Попрятав в снегу разную снасть, мужики пустились бежать в разные стороны, чтобы сбить погоню с толку. Рукобитов спрятал кусок кварца с золотом за пазуху и придерживал его обеими руками, как сокровище.

Куфта, лохматая собачонка с завороченным на спину хвостом, вывела погоню прямо к дудке. Впереди шагал по снегу штейгер Ермишка.

— Здесь... здесь... — повторял он, с трудом вытаскивая ноги из глубокого снега. — Молодец Куфта!..

За ним, в высоких охотничьих санях, приспособленных специально для езды по снегу, ехало начальство, завернутое в енотовую шубу.

Когда сани остановились у самой дудки, Ермишка снял шапку и торжественно заявил:

— Вот она, дудка самая... Ах, ироды!.. А меня не проведут, ваше высокоблагородие... стараюсь для начальства вот как... Эти самые хищники уже давно грозятся меня застрелить, а мне это все равно... Ей-богу! Только бы угодить вашему высокоблагородию.

«Начальство» вылезло из саней и долго осматривало дудку. Из воротника шубы выглядывало молодое лицо с серыми глазами и пушистыми усиками.

— Уж я старался вам как... — повторял Ермишка, продолжая стоять без шапки.

— А может-быть, здесь работали не сегодня, а раньше... — проговорил молодой инженер, раскуривая папиросу.

— Раньше?.. — обиделся Ермишка. — А следы свежие откуда! Вон как все утоптано кругом... и земля свежая насыпана на снегу...

Самым убедительным доказательством послужил засыпанный снегом костер. От него еще шел пар. Куфта вертелась около дудки и вызывающе взвизгивала.

— В дудке человек сидит... — решил Ермишка и, наклонившись над дудкой, крикнул: — Эй, жив человек, выходи!.. А то снегом всю дудку засыплю...

Михалко не отвечал, спрятавшись в забое. Он узнал голос Ермишки.

— Что же мы тут будем делать? — спрашивал инженер.

— Веревки не захватили, ваше высокоблагородие, а то я бы спустился и выволок из дудки, кто там спрятался. Ошибочка вышла... А мы вот что сделаем: запечатаем дудку. У меня завсегда с собой печать и сургуч... Не посмеют казенную-то печать ломать.

Шахта была запечатана, то-есть ручка ворота.

— Пусть теперь посидит там целую ночь, — торжествовал Ермишка. — А завтра утречком я приеду с канатом и выволоку... Ей-богу!

IV

Рукобитов прямой дорогой направился к скупщику краденого золота Потапычу. Было уже поздно, но к Потапычу днем никто и не ходил. Это был седой, крепкий старик с окладистой бородой и сердитыми маленькими глазами. Он внимательно осмотрел принесенный кусок кварца с золотом, долго что-то высчитывал про себя и потом решительно проговорил:

— Три целковых...

У Рукобитова даже руки затряслись от охватившего его горя. Он рассчитывал получить пять рублей. Ведь надо же поделиться с Яковом. Но как он ни торговался, — ничего не вышло. Потапыч не прибавил ни одной копейки.

— Так больше не дашь? — спрашивал Рукобитов.

— Не дам...

— А хрест на тебе есть?

— Даже весьма...

— Бога ты не боишься, вот что!

— А ты, милый человек, ступай к новому управляющему, он, может, и больше тебе даст, — пошутил безжалостно Потапыч, поглаживая свою бороду. — Много вас, таких-то...

Как Рукобитов ни бился, а пришлось помириться и на трех рублях. Все-таки, как никак, а будет разговенье... Дорогой домой он рассчитал, что он из этих денег отдаст рубль Якову, а два рубля останутся на его долю с Михалкой. Будут и горячие щи со свининой, и ситный белый хлеб и пирог с кашей, и стаканчик водки за труды праведные...

Проходя к своей избушке, Рукобитов вдруг заробел. Вот он войдет, а Дарья первым делом: «Где Михалко?» Ну, и бабушка Денисиха тоже накинется... Он несколько раз прошелся под окнами. Изба чуть-чуть была освещена самодельной плошкой из дешевого бараньего жира.

Дело было скверное.

«Куда это делся Яков?» — думал Рукобитов, соображая, что двоим все-таки было бы легче держать ответ.

А Яков был легок на помине. Он подошел и молча только почесал затылок.

— Ну, что? — спросил Рукобитов.

— А так... крышка.

— Ну?

— Ермишка, значит, запечатал нашу дудку, змей подколодный...

— Как же мы будем добывать Михалку?

— Ворот, значит, запечатал...

Мужики говорили между собой тихо, но Дарья не спала и слышала, что под окнами кто-то топчется в снегу и шепчется. Она выскочила в одном сарафанишке за ворота и сразу накинулась на мужа.

— А где Михалко?..

— Михалко... придет... Отстал немного... — бормотал виновато Рукобитов.

— Ей богу, сейчас придет, — уверял растерявшийся Яков.

Дарья сразу поняла, что дело не ладно, и заголосила. Этого еще недоставало... Рукобитов едва увел ее в избу.

Бабушка Денисиха лежала на печке. Ей что-то нездоровилось. Она слышала шум во дворе и вся встрепенулась, когда до ее старого уха долетело слово: Михалко. Она, как и Дарья, сразу догадалась, что дело не ладно и что случилась какая-то беда.

Мужики вошли в избу с виноватым видом, подталкивая друг друга. Дарья плакала, закрывая лицо рукавом.

— А где Михалко? — спрашивала старуха, слезая с печи. — Куды вы дели мальчонку?

Как мужики ни мялись, но пришлось еще раз повторить, как было дело.

— Да мы его, Михалку, вызволим, только пусть ободняет малость, — говорил Рукобитов, выкладывая три рубля на стол. — Вот вам и разговенье добыли... Один рубль тебе, Яков, один рубль Михалке, а один мне.

Но деньги не утешили плакавшую Дарью.

— Михалко-то под землей будет околевать, а мы будем разговляться? — причитала она. — Тоже, придумали...

— Ах, Дарья, Дарья, ничего ты не понимаешь! — объяснял Рукобитов, сбиваясь в словах. — Сказано: добудем Михалку... А што он полежит в забое, — не велика важность. Тепло там... Главная причина, что дудка-то запечатана. Ежели сломать печать, так наотвечаешься... Потом начальство со свету сживет и без работы замучит. А все идол Ермишка подвел... Чтобы ему ни дна ни покрышки!

— Добудем Михалку, — повторял виновато Яков. — Вот только печать...

Бабушка Денисиха выслушала все и начала одеваться.

— Бабушка, куды ты собралась, на ночь глядя? — удивилась Дарья.

— А туда... — сердито ответила старуха, с трудом надевая в рукава старую шубенку. — Михалку добывать.

— Да ты в уме ли, бабушка?

— А видно поумнее всех буду... Без Михалки не ворочусь. Такого закону нету, чтобы живого человека под землей печатью запечатывать. Да. А кто Михалку запечатал, тот и добывать будет. Прямо к новому анжинеру пойду... С меня, со старухи, нечего взять. А я ему всю правду скажу...

— У анжинера теперь вот какой бал идет, — говорил Яков. — Свету, как в церкви в христовскую заутреню.

— Ну, значит, и я на бал пойду, — спокойно говорила бабушка Денисиха, крепко закутывая голову старым платком.

Мужики молчали.

— Ты про нас-то не говори, бабушка, што, значит, мы в дудке работали, — говорил Рукобитов.

— Уж я знаю, што ему сказать, — уверенно ответила старуха. — Кто работал, — руки-ноги не оставил. А закону все-таки нет, чтобы морить людей под землей. Еще передо мной анжинер-то досыта накланяется. Нечего с меня взять.

Одевшись, бабушка помолчала, взяла в руки свою черемуховую палку и сказала:

— Ну, так вы меня ждите. Дарья, ты подтопи печку-то да картошки свари опять. Все-таки горяченького Михалко хватит с устатку.

Когда бабушка Денисиха пошла к дверям, Рукобитов попробовал ее остановить.

— Не ходила бы ты лучше, бабушка. Не женское это дело. Да и дорогой еще замерзнешь, пожалуй!..

Бабушка повернулась к нему, показала свою палку и сказала:

— А вот это знаешь?

Когда дверь за ней затворилась, Яков со вздохом проговорил:

— Правильная старушка. Вот какого она холоду нагонит, а взять не с кого.

— Нет, с работы сгонят.

— Пущай гонят! — решительно заявил Рукобитов. — Как-нибудь перебьемся, коли на то пойдет. Не мы первые, не мы последние...

А старая Денисиха шагала посредине улицы, размахивая своей палкой и думая вслух:

— А вот приду и все скажу... Нету такого закона!.. Суди меня, а я вот пойду и твою печать на мелкие части растерзаю.

В господском доме елка уже догорала. Разодетые по-праздничному дети с нетерпением ожидали того блаженного момента, когда елка со всеми своими сокровищами поступит в их полное распоряжение. В передней на стуле дремал штейгер Ермишка, «отвечавший сегодня за швейцара».

Из столовой доносился веселый говор закусывавших; в кабинете играли в карты; молодая красивая хозяйка бегала из комнаты в комнату, занимая гостей. Когда послышался скрип ступенек на деревянной лестнице, Ермишка вскочил и бросился отворять дверь.

Перед ним стояла бабушка Денисиха со своей палкой... В первую минуту Ермишка совершенно оторопел, а когда узнал старуху Денисиху, загородил ей дорогу и зашипел, как гусь:

— Куды пре-ош?!.

Вместо ответа бабушка Денисиха ударила его палкой прямо по голове.

— Вот тебе, змей подколодный!..

Конечно, старуха не могла ударить больно, но Ермишка закричал благим матом:

— Ой, убила!.. досмерти убила..·

В переднюю выскочили все гости, но старуха не смутилась, а только проговорила:

— Который, значит, будет тут хозяин? Мне анжинера...

— Что тебе нужно, старушка? — спросил выступивший вперед хозяин.

— Мне-то? А зачем ты моего Михалку печатью запечатал под землей?

— Какого Михалку?

— Моего внучка Михалку... Ты-то вот радуешься тут со своими детками, а Михалко под землей сидит. Разе есть такой закон?!.

— Это она насчет дудки, которую мы даве опечатали... — объяснил Ермишка. — Меня-то вот как палкой благословила, прямо по голове... Этак можно живого человека и до смерти убить. Позвольте, ваше высокоблагородие, я ее в шею вытолкаю за пустые ее слова.

— Нет, оставь... А ты, старушка, говори толком.

— И скажу... все скажу·.. Ты запечатал Михалку в дудке, ты и добывай!..

Когда все разъяснилось, управляющий велел подать лошадь и отправился с Ермишкой на дудку.

— Ты подожди здесь, бабушка, — ласково говорила его жена, усаживая старуху на стул в передней. — Может быть, ты озябла? Может быть, есть хочешь?

— Нет, ничего мне не нужно, барыня... — шептала Денисиха.

— Мой муж не знал, что в шахте спрятался твой внучек... Это все штейгер виноват.

— Он, он, матушка!..

Дети нетерпеливо выглядывали в переднюю. Кто-то назвал сидевшую в передней старуху ведьмой, и всем это показалось очень смешным. А «ведьма», обласканная доброй барыней, сидела и плакала.

— Вот твои детки, хорошая барыня с радости скачут, а наши детки с голода плачут, — говорила бабушка Денисиха, качая своей головой. — Праздник на дворе, а в дому и хлеба не было.

Она сидела и рассказывала про свою бедность, а добрая барыня слушала, глотая слезы.

— Мама, когда мы будем делить елку? — приставали к ней.

— Подождите, когда приедет папа.

— А он куда уехал?

— По одному важному делу, и скоро вернется. Имейте маленькое терпение...

«Папа», действительно, скоро вернулся и торжественно ввел в переднюю упиравшегося Михалку.

— Вот тебе, старушка, твой внучек. Едва его вытащили из дудки. Спрятался в забое и молчит. Ну, его нужно накормить и отогреть...

Когда старая Денисиха вернулась домой с Михалкой, все только ахнули.

— Ай да бабушка! — хвалил Яков.

— Вот то-то и есть, Аники-воины, — ворчала старуха. — Руки у вас есть, а ума-то и нехватило.

Добрая барыня сунула за пазуху Михалке пакет с разными елочными бонбоньерками и сластями, и все с удивлением рассматривали эти дешевые чудеса.

— Натощак-то, Михалко, ты гостинцев не ешь, — советовал тоном опытного человека Яков: — живот будет болеть.

Дарья опять плакала, но уже на этот раз от радости.

Приисковый мальчик

I

Для Ермошки последний ильин день останется навсегда в памяти, как день удивительных приключений и еще более удивительной его собственной, ермошкиной, изобретательности.

По праздникам Ермошка обыкновенно околачивался у приисковой конторы или господского дома. Своя казарма пустовала, потому что рабочие расползались в разные стороны и возвращались домой только к утру, если были в состоянии это выполнить. Ермошка тоже слонялся целый день на полной своей воле и, по примеру больших рабочих, приносил с такого праздника подбитый глаз или какое-нибудь другое праздничное увечье.

На прииске Любезном ильин день праздновался особенно широко, потому что главная шахта называлась «Ильинской».

Итак, ильин день наступил. Ермошка проснулся, по обыкновению, рано, но провалялся на своей наре лишний час, благо сегодня ему не нужно «гонять барабан». В отворенную дверь казармы заглядывало горячее, летнее солнце, так что глазам было больно. Первым делом Ермошка сбегал к ближайшей выработке и приблизительно умылся, т. е. размазал по лицу полосами яркожелтую приисковую глину. Затем он надел новую ситцевую рубаху, плисовые порыжелые шаровары, пригладил скатавшиеся копной волосы на голове и почувствовал себя окончательно в праздничном настроении. Возвращаясь через казарменную кухню, Ермошка воспользовался отсутствием зазевавшейся артельной стряпки Леканиды и стянул порядочную краюху пшеничного хлеба, которую и спрятал с ловкостью записного вора под нары.

— Ах, ты, пес! — крикнул на него лежавший на печи старик Осип, служивший шорником. — Вот ужо я скажу Леканиде-то, так она те расчешет башку-то...

Ермошка запустил в старика валявшимся на полу старым лаптем и ретировался. Покрытое веснушками и загаром скуластое лицо Ермошки дышало завидным здоровьем, а серые глаза смотрели с откровенным нахальством настоящего приискового мальчишки, выросшего в рабочей казарме без всякого призора.

Позавтракали сегодня рано, потому что народ торопился разойтись по промыслам, и многие не обещались вернуться даже к обеду. Нахлебавшись щей из толстой крупы с забелкой из сметаны, Ермошка отправился в поход вместе с другими.

Стряпка Леканида, конечно, хватилась недостававшей краюшки, но махнула рукой на разбойника: за обедом раскроется хлебом, который останется от загулявших рабочих. Да и то сказать, Леканиде было не до Ермошки, — она торопилась поскорее убраться у печи, чтобы отвести свою приисковую душеньку на гулянке.

Прииск Любезный занимал большую площадь, перерезанную с угла на угол болотистой речонкой Шабейкой. Издали и вблизи общая картина имела совсем унылый вид: плоская болотистая равнина, тощий болотистый лесок, грязные дорожки, и кое-где громадные выработки и целый ряд приисковых построек. Рабочая казарма, в которой жил Ермошка, стояла уже на борту выработавшейся золотоносной россыпи, — работы были отодвинуты чуть не за версту. До Приисковой конторы от казармы было с версту. На пути стояла знаменитая Ильинская шахта, давшая владельцу Любезного больше пятидесяти пудов золота; снаружи деревянный корпус, защищавший шахту, ничего особенного не представлял — деревянный сарай с высокой железной трубой, и больше ничего... Железная труба вечно дымилась, потому что паровая машина день и ночь откачивала тяжелую и холодную «рудную» воду. Она же вертела стальные бегуны, дробившие кварц в каменную муку. Каждый уголок на прииске был известен Ермошке, как свои пять пальцев; он и песок с россыпи возил по железной дороге на машину, и у паровых котлов ходил, и на машине состоял, и канавки для воды проводил, а теперь «гонял барабан», т. е. целый день ездил на паре лошадей кругом громадного деревянного барабана, на который наматывалась снасть, «выхаживавшая» из шахты бадью с породой или «пустяком». Проходя теперь мимо своего пустовавшего по-праздничному вагона, Ермошка лихо сви-

стнул на невидимых лошадей, — свистел он ухарски, так что непривычный человек вздрогнет.

— Гли-ко робя, это что у конторы! — крикнул Ермошка, вглядываясь вперед. — Никак гости приехали...

Не дожидаясь ответа, Ермошка уже летел вперед на всех рысях, так что сверкали только его голые пятки. Надо было поспеть во-время и разузнать, кто приехал, откуда и зачем. Чужие люди редко показывались на Любезном и являлись жертвой неудержимого любопытства Ермошки. Он еще издали заметил, что приехавшие были люди необычные. У подъезда господского дома понуро стояла старая сивая лошадь, запряженная в странной формы повозку, — это были простые дроги с плетеным кузовом, защищенным от враждебных стихий парусиной. Так никто на промыслах не ездил... На крылечке стоял, вытянувшись в струнку, швейцар и обережной хозяина, по прозванию Гусь, а перед ним без шапки переминался с ноги на ногу какой-то бритый человек с длинными усами. Из экипажа выглядывало бледное женское лицо.

— Сами Вукул Ефимыч приказали, — повторял бритый человек, — так как они видели нашу игру и весьма одобряли... Да. Мы в Елковском заводе представление имели для почтеннейшей публики, и господин Вукул Ефимыч тогда же удостоили нас своим вниманием и приказали приехать на Любезный.

Гусь подозрительно оглядывал с ног до головы бритого человека и отрицательно качал головой, что в переводе означало, что не может этого быть.

По воровской привычке, Ермошка не подошел к крыльцу прямо, а предварительно обошел кругом экипаж и заглянул под парусину. Повозка оказалась нагруженной доверху какими-то ширмами, крашеными палками и подозрительными узлами. Поторговавшись для важности с бритым человеком, Гусь ушел в господский дом и на всякий случай запер за собою дверь на крючок. Бритый человек подошел к повозке и ласково сказал бледной женщине.

— Все отлично... Вукул Ефимыч дома. А холуй еще ломается...

Появившийся на крыльце Гусь поманил бритого человека, и они скрылись в подъезде.

— Тетенька, вы кто такие будете? — осведомился Ермошка, заглядывая под парусину.

— Мы комедию будем представлять...

— Какую комедь?

— А вот увидишь...

— Где?

— Здесь. Палатку поставим и будем представлять... Если хочешь посмотреть, так припасай гривенник.

У Ермошки захватило дыхание от этого известия, и он сразу сообразил все. Шорник Осип видел, как комедию ломают... Вот так штука! Гусь и бритый человек вышли снова на подъезд уже совсем приятелями. Вукул Ефимыч приказали всячески способствовать приехавшим комедьщикам.

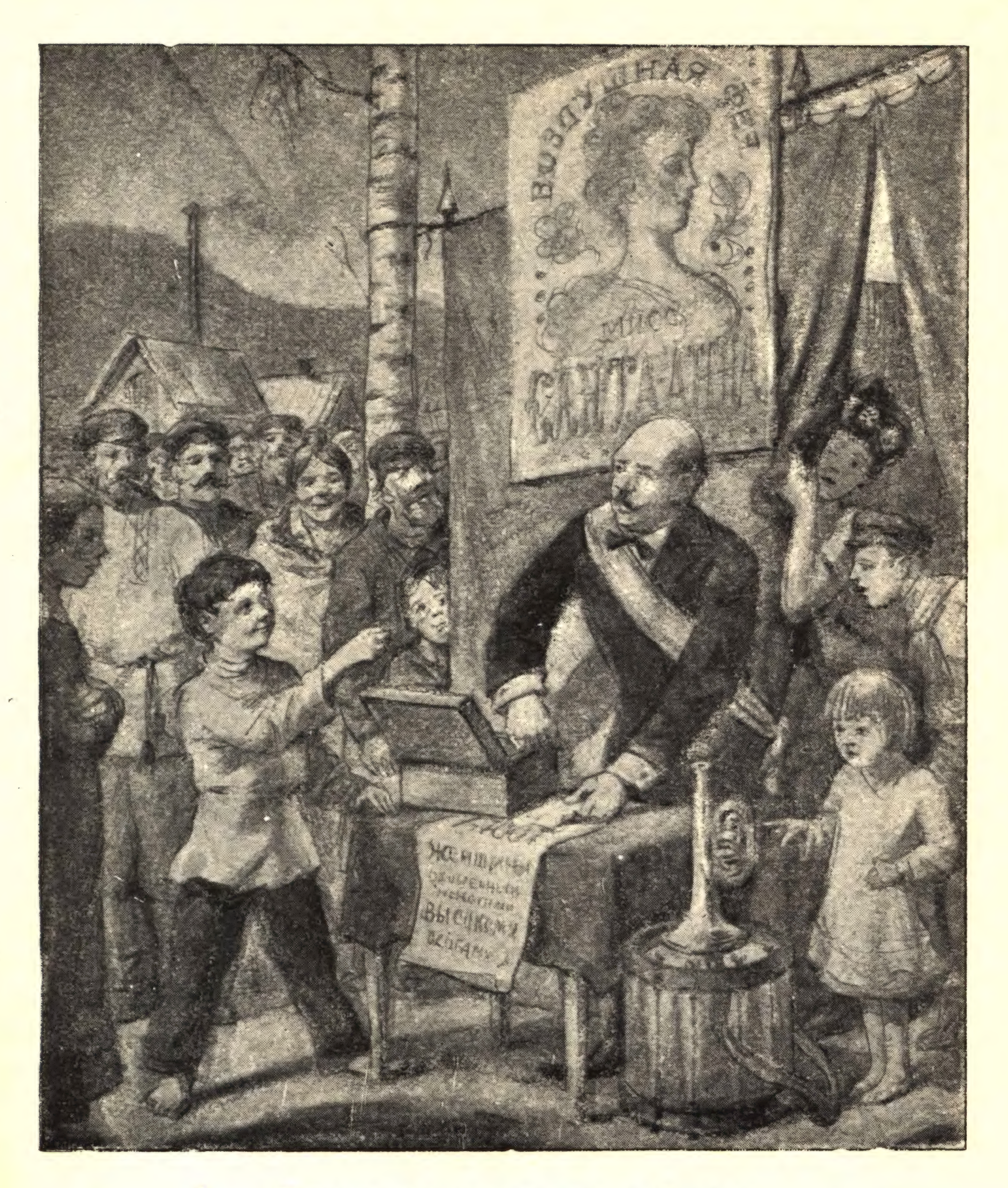
— Комедьщики приехали... комедьщики!.. — кричал Ермошка, бросившись сначала к корпусу служащих, а потом обратно к своей казарме. — Комедьщики!..

II

Центр Любезного прииска составляла его приисковая контора с господским домом, корпусом для служащих, амбарами, конюшнями и разными другими приисковыми постройками. Маленькая, неправильной формы площадка разделяла их, точно заплата, пришитая неумелой рукой. Вот на этой площадке бритый человек и принялся за дело. Прежде всего он воткнул в землю большой шест с красным флагом и пестрой афишей, гласившей, что мосье Пертубачио имеет честь известить почтеннейшую публику о своем благополучном прибытии. Далее следовали некоторые подробности: мосье Пертубачио, изучивший черную и белую магию, покажет чудесные явления из мира таинственного, будет глотать горящий огонь и шпаги, представит опыт индийского чревовещателя, олимпийские игры, всевозможные фокусы и в заключение всего знаменитую воздушную фею мисс Санта-Анну, или «бюст женщины, одобренный многими высокими особами». Гусь был прикомандирован на помощь мосье Пертубачио и с обиженным видом смотрел, как тот быстро устраивал свою походную палатку из заплатанной парусины. Около этого походного сооружения собралась целая толпа и впереди всех, конечно, пожираемый любопытством Ермошка.

— Вот так немец!.. — слышались одобрительные возгласы. — Ловко приспособился...

— Ви не мешайт мой... — бормотал мосье Пертубачио искусственно ломаным языком, отодвигая напиравшую толпу. — Мой будет давать морда... Доннерветтер!.. Мальчишка, долой, каналья!



Первым покупателем явился Еремка.



Особое внимание мосье Пертубачио обратила на себя стоявшая недалеко от палатки сухая береза. Он несколько раз подходил к ней, пробовал ее и качал недоверчиво головой, — береза была гнилая и не выдерживала напора его рук.

— Проклятая шволочь!.. — бормотал мосье Пертубачио, оставляя в покое гнилую березу.

Все эти таинственные приготовления совершались чуть не целый день. Когда палатка наконец была готова, мосье Пертубачио торжественно вывесил по обеим сторонам входной двери две картины, — на одной изображен был он сам, глотающий огонь, а на другой мисс Сэнта-Анна, или бюст женщины. Возбужденному приисковому любопытству не было меры и границ. Невозмутимый Гусь был приставлен охранять палатку от нескромного любопытства приисковой публики.

Представление было назначено в шесть часов вечера, когда хозяин прииска Вукул Ефимыч Злобин соснет после обеда. Это была целая вечность для нетерпения Ермошки. Он позабыл о своем обеде и не отходил от палатки ни на шаг. Вдруг он уйдет и представление начнется без него... Мосье Пертубачио закусил что-то с своей воздушной феей и тоже прилег отдохнуть.

Ермошка ужасно беспокоился и в каждом новом человек видел своего кровного врага, который займет именно его место. Палатка была невелика, негде кошки за хвост повернуть, а народ все прибывал.

— Тише вы, галманы! — как-то шипел на всех Гусь. — Вукул Ефимыч изволят почивать... Право, варначье!..

Так как всему на свете бывает конец, то и Вукул Ефимыч изволил наконец проснуться. Гусь был отозван в господский дом и получил строгий наказ стоять все время представления у палатки и наблюдать, чтобы «не было худых слов». Вукул Ефимыч шел на представление с собственной супругой, потом будут жены служащих и наконец девицы, а народ праздничным делом пьяный.

— Ты у меня смотри, каналья! — предупредил Вукул Ефимыч и многознаменательно погрозил верному Гусю своим опухшим от жира пальцем. — Понимаешь, будут барышни.

— Могу соответствовать вполне, Вукул Ефимыч...

Представление началось с того, что мосье Пертубачио вышел из своей палатки с медной трубой и затрубил, а потом ударил в барабан.

У Ермошки дух захватило от волнения: начиналось что-то необыкновенное. Когда замерла последняя трель барабана, в палатке захрипела походная разбитая шарманка, над которой трудилась мисс Санта-Анна. Мосье Пертубачио выставил у входа небольшой деревянный столик, раскрыл деревянную шкатулку и принялся продавать билеты.

— Каспада, пожалюйт... — повторял он, раскланиваясь с почтенной публикой. — Сегодня на деньги, завтра в долг...

Первым покупателем явился Ермошка. Мосье Пертубачио внимательно осмотрел поданный пятиалтынный, попробовал его на зуб и, подозвав Гуся, проговорил:

— Фальшивая монета.

— Ах, ты, варначонок!..

Космы Ермошки очутились в могучей длани Гуся, и его маленькое грешное тело покатилось к ногам мирно дремавшей сивой кобылы... Гусь давно уже заметил вертевшегося у палатки Ермошку и инстинктивно почуял в нем своего врага. Ермошка, нужно сознаться, был порядочно обескуражен таким неблагоприятным началом, хотя и знал, что его «монет» фальшивый. Неужели он так-таки ничего не увидит?.. Нет, это было ужасно... Целый день ждать и ничего не увидеть? Ермошка сильно задумался и готов был разреветься с горя. Но шарманка играла, барабан опять бил, и время даром терять не приходилось. В палатку уже прошли двое служащих с женами, потом барышни и наконец сам Вукул Ефимыч с собственной супругой. Это было сигналом для остальной публики, бросившейся покупать билеты нарасхват.

Ермошка совсем упал духом, когда представление началось, а он, Ермошка, остался за палаткой. Мальчик просто сгорал от любопытства, готов был расплакаться. Машинально он несколько раз обошел палатку, стараясь не попадаться на глаза Гусю. А в палатке, видимо, творились чудеса, и публика хохотала неистово. Случайно Ермошка обратил свое внимание на большую заплату в задней стенке палатки. Отодрать ее и проделать небольшое отверстие для него было делом нескольких секунд, и вот все чудеса перед ним. Ермошка видел теперь всю публику: впереди всех сидел Вукул Ефимыч с супругой, за ним сидели служащие со своими семьями, а назади стояла на ногах остальная черная публика. Сцену заменял подержанный тюменский ковер, на котором мосье Пертубачио показывал свои фокусы: глотал зажженную паклю, играл на кофейнике и в заключение взял золотые часы Вукула Ефимыча и истолок их вдребезги в медной ступке. Мисс Санта-Анна

подавала ему необходимые вещи и несколько раз заслоняла своей широкой спиной поле зрения Ермошки. Когда мосье Пертубачио подал Вукулу Ефимычу совсем целые часы, Ермошка расхохотался до слез и должен был на время оставить свой наблюдательный пост. Но это проявление искренней детской радости чуть его не погубило: когда Ермошка опять заглянул в свою дыру, воздушная фея Санта-Анна ткнула в нее чем-то так, что он едва успел отскочить.

— У, дьявол! — ругался Ермошка, отскочив. — Прямо в глаз метила, окаянная душа...

У Ермошки явилась счастливая мысль достать палку и ткнуть ею прямо в спину проклятой мисс Санта-Анне. Половина этого плана была приведена в исполнение, но когда Ермошка подошел к своей дыре, то знакомая уж ему длань Гуся ухватила его за волосы и распростерла ниц. Визг Ермошки совершенно потерялся в шумных проявлениях восторга благодарных зрителей.

— Ты у меня, сибирская язва, смотри! — грозно шипел Гусь, отгоняя Ермошку от палатки пинками.

Что было делать? Теперь уже нельзя было к палатке подойти, потому что проклятый Гусь сторожил его. Скрепив сердце, Ермошка вмешался в толпу и очутился под березой. Взлезть на нее было делом нескольких минут. Публика, толкавшаяся у палатки, одобрила предприятие Ермошки, так что даже преследовавший его Гусь теперь был бессилен и только издали погрозил вороватому врагу кулаком. Ермошка торжествовал. Ермошка был выше всех и видел решительно все, а представление у него шло на глазах: было видно решительно все, даже то, чего не видела заплатившая деньги публика. Мосье Пертубачио глотал шпаги, показывал опыты чревовещания, опять глотал зажженную паклю и наконец заявил, что покажет «бюст женщины». Предварительно он загородился от публики красной ширмочкой, потом поставил за ширмочкой тот самый столик, на котором давеча продавал билеты, посадил на него свою воздушную фею, вытащил откуда-то несколько зеркал — Ермошка все это видел и замер от восторга. Когда волшебная ширмочка раскрылась, мисс Санта-Анна видна была только по пояс, и любопытные могли с ней разговаривать и даже ощупать ее, как предлагал мосье Пертубачио, чтобы убедиться, что это не кукла, а живой человек. Ермошка до того вытягивался, стараясь разглядеть, куда спрятаны ноги мисс Санта-Анны, что гнилая береза не выдержала и рухнула вместе с ним прямо на палатку...

III

Можно себе представить смятение почтеннейшей публики, произведенное падением Ермошки. Когда березу убрали и публика немного пришла в себя, первым делом естественно явился вопрос о Ермошке, но приисковый мальчик точно сквозь землю провалился. Мисс Санта-Анна припоминала, как во сне, что старалась схватить этого разбойника за волосы, но он ловко бросился к ней под ноги, уронил ее и исчез. Вукул Ефимыч потребовал ответа от Гуся, как лица, облеченного специальной доверенностью, но Гусь только размахивал руками и ругался.

— Ну, я с тобой рассчитаюсь после, — грозился Вукул Ефимыч, показывая Гусю кулак. — Пошел вон, дурак!..

После этого невольного антракта представление продолжалось. Гусь попрежнему стоял у входа, вытянувшись в струнку, и его душа кипела негодованием. Только бы увидать ему этого подлеца Ермошку, и он показал бы ему...

А Ермошка был тут, всего в двух шагах. Он укрылся под «парадным» крыльцом господского дома. Здесь он прежде всего привел в порядок свой праздничный костюм, вытер нос и принялся наблюдать, что делает проклятый Гусь. Стоило выглянуть Ермошке из своей засады, как Гусь сейчас же накрыл бы его. Необходимо было ждать... Ермошке сделалось грустно. Другие веселятся, мисс Санта-Анна вертит свою шарманку, мосье Пертубачио выкидывает все новые колена, а он, Ермошка, должен сидеть для праздника под крыльцом.

Да, музыка гудела, на площадке галдел по-праздничному приисковый люд, а Ермошка выглядывал из своей дыры, как мышонок. Ближе всего к нему стояла повозка мосье Пертубачио с привязанной к ней сивой лошадью.

Летний день быстро догорал. Солнце багровым шаром опустилось за разорванную линию обступившего со всех сторон прииск Любезный леса. Быстро надвигались короткие летние сумерки. Ближайшее болото точно задымилось белым туманом. Мосье Пертубачио в третий раз протрубил в свою трубу и с изящным поклоном объявил публике, что сейчас начнется последнее действие его представления, именно живая картина или полет воздушной феи мисс Санта-Анны. Раскланявшись грациозно, мосье Пертубачио удалился из палатки: ему нужно было

переодеться. Он отыскал свой экипаж и быстро принялся за дело. Прежде всего мосье Пертубачио, конечно, снял свой пиджак и жилет, а затем остальные принадлежности своего костюма. Свернув все это одеяние, он сунул его под беседку экипажа, а на себя натянул заштопанное и довольно грязное трико. Вся эта операция хотя и совершалась в темноте, но от волчьего глаза Ермошки не ускользнуло ничего, до мишуры и блесток костюма комедьщиков включительно. Вслед за мосье Пертубачио переоделась и мисс Санта-Анна, являвшаяся теперь главным действующим лицом. Она была в короткой кисейной юбочке, в трико телесного цвета и с восхитительно-голыми руками. Мосье Пертубачио подхватил ее за руку, и они легкими прыжками вернулись в палатку.

Пользуясь темнотой, Ермошка вылез из своей засады, огляделся и подошел к экипажу. Сивая лошадь проснулась и посмотрела на него усталыми добрыми глазами. Прежде всего Ермошка запустил руку под беседку, извлек оттуда только что снятый костюм мосье Пертубачио и сделал быстрый обыск. Его внимание заняли главным образом штаны комедьщика, т. е. карманы оных. Нащупав портмонэ, Ермошка извлек его, сунул за пазуху, а потом привел все вещи в порядок и сейчас же исчез в темноте, как известно, специально благоприятствующей влюбленным и ворам.

Последнее действие произвело необыкновенный эффект, так что бледная мисс Санта-Анна даже не раскраснелась от быстрых движений и общего внимания. Она грациозно раскланивалась, прижимала обе руки к сердцу и посылала воздушные поцелуи. Мосье Пертубачио тоже кланялся, счастливый тем, что мог заработать целых семь рублей двадцать копеек.

Улыбающаяся и счастливая чета грациозными прыжками вернулась к своему экипажу, чтобы переодеться. Можно себе представить изумление и ужас мосье Пертубачио, когда он, облекшись в свою походную пару, не нашел портмонэ. В первую минуту несчастный онемел... А мисс Санта-Анна, возбужденная успехом, сладко улыбалась. Как ему тяжело было огорчить свою верную подругу...

Первым движением мосье Пертубачио было броситься за помощью к Гусю, который отдыхал после тяжелого дня на своем крылечке. Мосье Пертубачио объяснял ему свою историю шопотом и все сбивался, так что Гусь заподозрил его сначала во лжи и глубокомысленно молчал.

— Ведь семь цалковых! — повторял мосье Пертубачио, опускаясь в изнеможении на лесенку. — Нюта радуется, а я не могу ничего выговорить.

Гусь только что хотел сказать несколько теплых слов по адресу шляющихся комедьщиков, которые только беспокоят добрых людей, как вдруг мосье Пертубачио, тот самый Пертубачио, который сгибал в пальцах двухгривенные, схватил руками собственную голову таким движением, точно хотел ее оторвать, как совсем ненужную вещь, и... заплакал. Это безмолвное проявление искреннего горя, с одной стороны, тронуло Гуся, а с другой, для него сделалось ясным решительно все.

— Ах, он, варнак!.. а? Ах, подлец! — шипел Гусь, поднимаясь. — Некому другому этого сделать, как ему...

— То-то я смотрю: все вертелся на глазах, как бес, а тут сразу сгинул... Его дело!..

— Чье?

— Ну, варнак этот, который с березы на публику сверзился... Ах, ирод!..

— Я его не видал...

— И я тоже... Понимаешь ты, мосье: некому больше!.. Все вертелся на глазах, а тут пропал... Он!.. С живого кожу сдеру...

Гусь поднялся с решительностью убежденного человека, сделал знак мосье Пертубачио и повел его за собой. Скоро они скрылись в темноте. Комедьщик покорно следовал за своим мрачным путеводителем, шагая через какие-то ямы, запинаясь за камни, точно пьяный.

— Ведь семь рублей... — повторял он упавшим голосом. — А она так беззаботно улыбается... И руками тянется ко мне... Если она узнает, это ее убьет. Понимаете: она нервная... Я, я-то как отлично сегодня работал: сейчас еще каждая косточка ноет.

Небо покрылось неизвестно откуда наползшими облаками, точно войлоком. Нигде не светилось ни одной звездочки. Летний жаркий день быстро сменился прохладой надвигавшейся грозы, которой уже пахло в воздухе. Гусь несколько раз смотрел на небо, прислушивался к чему-то и наконец проговорил:

— Быть грозе... На то тебе ильин день. Уж это завсегда так... Нонче Илья-то маненько запоздал.

Точно в ответ на эти слова вверху ярким изломом бросилась молния, и, после короткой паузы, тяжелым раскатом ударил гром.

— Господи, прости нас, грешных! — крестился Гусь.

VI

В казарме едва светился замиравший огонек, — это играли в три листа неугомонные приисковые забулдыги, ставя на карту последние гроши. Остальные давно спали на нарах, раскинувшись в самых непринужденных позах. На печке спал старый шорник Осип, а за печкой на лавочке прикурнула подгулявшая приисковая стряпка Леканида. Намаялась она за день, а потом бабьим делом выпила. В заключение гулянья ее больно поколотили и пообещали совсем порешить, если бы она не убежала в темноте. Каждый праздник нещадно колотили Леканиду, и каждый праздник она горько каялась в своих делах и давала зарок, что это уж последний раз, и что больше она даже не посмотрит глазом ни на одного проклятого мужика.

— Эй, вы, челдоны! — крикнул Гусь, входя в казарму. — Где тут у вас парнишка?

Игроки даже не удостоили ответом грозное начальство, продолжая свое дело.

— Вам говорят, омморошные! — еще грознее крикнул Гусь.

Никто не шевельнулся и не повернул головы. Гусь величественно стоял у двери, а за ним мосье Пертубачио, подавленный своим горем.

— Какого тебе парнишку? — откликнулась из запечья Леканида.

— А того самого... Ермошкой звать.

— Тут где-нибудь спит, — сонно ответила Леканида, зажигая сальную свечу. — Ужо вот я посвечу...

Розыски начались при колебавшемся свете сальной свечи. Леканида обошла все нары — Ермошки нигде не было. Было осмотрено помещение под нарами — тоже.

— Куда бы ему деться? — удивлялась Леканида, стараясь не смотреть на беспомощно распростертые мужицкие тела. — Да вам-то на что его?

— Уж это наше дело, — строго ответил Гусь. — Ну-ка, краля, посвети на печь...

— Осип там спит, шорник... Неможется ему, объяснила Леканида, шагая к печи. — К ужину только прибег Ермошка-то, наголодался за день, как пес, а потом свернулся — только его и видела.

На печке, действительно, спал шорник Осип, а за ним сам Ермошка. Гусь схватил его за голую ногу и сонного поволок прямо на пол.

— Тебя-то и надо, молодца! — грозно крикнул Гусь, встряхивая заспанного Ермошку.

Ермошка ничего не понимал и только смотрел кругом заспанными глазами. Гусь ощупал его, слазил на печку, пошарил там — ничего.

— А где у него сундук? — спрашивал Гусь, огорченный этой неудачей.

— Никакого и сундука нет, — ответила Леканида, сообразившая, в чем дело. — Весь тут: рубаха на ём да штаны. Никакого сундука нет.

Гусь схватил Ермошку за руку и поволок из казармы. Мальчик упирался изо всех детских сил, пробовал укусить руку Гуся, но все напрасно.

Ермошка очнулся за пределами казармы и понял, что все кончено. Гусь куда-то тащил его за руку, а мосье Пертубачио подталкивал сзади коленом. «Убьют меня в лесу», — мелькнуло в голове у Ермошки, и он попробовал закричать благим матом. Но и эта последняя попытка не помогла, потому что Гусь закрыл ермошкин рот своей широкой ладонью. Они молча отвели пленника от казармы и остановились.

— Сказывай, куда дел деньги? — рявкнул Гусь, подняв Ермошку за волосы.

— Дяденька, вот те Христос, не бирал!.. знать не знаю!.. — вопил Ермошка, отчаянно болтая ногами.

— А вот узнаешь!.. Мосье, держи его за ноги.

Ермошка был повергнут на землю, и Гусь с ожесточением принялся его лупить сломанной по пути розгой. Отчаянный вопль огласил лес и жалко замер.

— Не знаешь? — спрашивал Гусь, делая небольшую передышку.

— Ничего не знаю... вот сейчас провалиться...

— Мосье, теперь ты катай его, а я подержу за ноги, — решил Гусь.

Экзекуция началась с новой энергией, и новый вопль Ермошки опять замер в окружавшей темноте. Ермошку били так часто и много, что он перенес бы это истязание, но его испугала ночь, окружавшая темнота и его полная беззащитность. Что стоило рассвирепевшим мужикам убить его, а потом бездыханное ермошкино тело бросить куда-нибудь в шурф. Эта мысль заставила Ермошку сделать признание.

— Давно бы так, — другим тоном проговорил Гусь. — Куда деньги-то запрятал, пес?

Ермошка сообразил: ему нужно было выиграть время и место. Разгорячившись, мужики запороли бы его насмерть, да и место самое глухое.

— Под крыльцом в землю закопал... — признался Ермошка, лежа на земле. — У господского дома под крыльцом.

— Ну, смотри, ежели надуешь, так я тебя в порошок изотру, — пообещал Гусь. — Под крыльцом, говоришь?

— В уголке закопал.

По дороге к господскому дому Гусь наломал розг и очистил их от листьев.

— Отдай мои семь рублей, — говорил мосье Пертубачио, подталкивая Ермошку ногой. — Я тебе пряников куплю...

В господском доме окна были еще ярко освещены, когда Ермошка очутился на месте преступления.

— Ну? — коротко буркнул Гусь, когда они подошли к крыльцу.

Ермошка осмотрелся и полез под крыльцо. Гусь тоже растянулся на земле, хотя и не мог залезть в узкую дыру. Несколько времени Ермошка копал землю, а потом заявил шопотом:

— Дяденька, кто-то утащил портмонет-то!..

— Что-о! Ах, ты, подлец... да я...

Гусь никак не мог залезть под крыльцо и только болтал ногами, а Ермошка, воспользовавшись удобством своей неприступной позиции, заревел таким благим матом, что сбежались не только все из господского дома, но и из корпуса служащих. Гусь был сконфужен... Вукул Ефимыч сам принялся за разбор дела и, когда узнал все подробности, залился неудержимым хохотом: уж очень ловко все было оборудовано.

— В штанах, говоришь, портмонэ был? — спрашивал он растерявшегося мосье Пертубачио. — Пришел, надел штаны, а портмонэ-то и нет... Ха-ха-ха!.. Дудил в трубу, представлял, а денег и нет? Ох, уморил... Ну, и ловок Ермошка! Как вы его, черти, насмерть не забили в лесу-то!

Развеселившийся Вукул Ефимыч заплатил мосье Пертубачио красненькую «за хлопоты», а Ермошку велел отпустить с миром. Когда Гусь рассказывал о подвигах Ермошки, весь господский дом покатывался со смеху. Вукул Ефимыч был доволен и велел покормить комедьщиков ужином.

Когда на другой день мисс Санта-Анна проснулась, первое, что ей бросилось в глаза, была сивая лошадь, — она понуро и сконфуженно посмотрела на нее своими добрыми глазами. Великолепный сивый хвост был отрезан начисто... Кто это сделал — всем было ясно, как день.

Белое золото

I

— Эй, ты, лебежок, вставай!.. — говорил старик Ковальчук, стараясь разбудить спавшего мальчика. — Пора, брат...

Кирюшке ужасно хотелось спать, и притом было очень холодно. Он старался завернуться в старую баранью шубенку и откатывался к самой стене землянки.

— Ну, ну, не балуй... — ласково повторял старик. — На работу пора...

В землянке было темно и сыро. Свет проходил только через низенькую дверку, в которую входили согнувшись. Когда старику надоело будить внука, он сдернул с него шубу. Кирюшка, охваченный холодом, сел на наре и никак не мог понять, где он, и что с ним.

— Ну, ну, будет спать... — говорил старик, гладя кудластую голову мальчика. — Все мужики уж встали...

— Дедушка, еще немножко поспать... — плаксиво проговорил Кирюшка, протирая глаза.

Старик взял его подмышки, встряхнул и потащил из балагана:

— Что с тобой разговаривать-то, — ворчал он, стараясь не выпустить из рук барахтавшегося внучка.

Вытащив на воздух, старик еще раз его встряхнул и, поставив на ноги, проговорил не без гордости:

— А вот вам и еще старатель!.. Получайте...

Около огня, над которым висел железный котелок, сидело несколько мужиков и баб. Один из мужиков оглядел Кирюшку и проговорил:

— Ничего, здоровущий мужичина...

Это был известный Емелька охотник, подошедший к балагану Ковальчуков на огонек. Остальные мужики, в том числе и отец Кирюшки, угрюмо молчали, и только мать проговорила:

— Ступай, вон, к ключику, умойся... Сон-то и снимет, как рукой. Сейчас каша поспеет...

Последнее произвело на Кирюшку самое сильное впечатление, и он бегом побежал под гору, куда толкнул его дед.

— Эге, тоже Ковальчук будет... — задумчиво проговорил старик, провожая внучка глазами. — Кирюшка, направо держи... Под кустом тебе и ключик будет. Ах, ты, пострел...

— Нашел, дедушка! — весело крикнул Кирюшка. — Вот он, ключик-то...

— Давно бы так-то... Холодной-то водой вот как обдерет, а каша, брат, сейчас готова. Любишь горячую кашу хлебать, пострел? То-то...

Землянка Ковальчуков приткнулась на самой обочине (бок) небольшого увала, упиравшегося в небольшую горную речонку Мартьян. Место было выбрано старым дедом сухое, а главное — веселое. От землянки открывался великолепный вид на весь Авроринский прииск, на котором добывали платину вот уже тридцать лет. Сейчас за речкой Мартьяном разлеглась лесистая горка Момыниха, и из-за нее синела вершина горы Белой, точно громадная коврига хлеба. Поправее горбилась Соловьева гора, и течение Мартьяна раздавалось, точно вода раздвигала стеснившие ее горы, пригорки и увалы. Работы шли по течению Мартьяна, насколько хватал глаз. Земля была изрыта по всем направлениям, а вода катилась совсем мутная, унося с собой глину от промывки. По обоим берегам, как птичьи гнезда, лепились землянки, балаганы и просто шалаши старателей, а налево виднелась главная приисковая контора.

Ранним летним утром в горах холодно, и Мартьян долго кутается в волокнистую пелену тумана. Когда-то еще солнце обсушит росу и подберет этот туман. У старательских балаганов везде дымятся огоньки, из лесу доносится перезвон лошадиных бо́тал, где-то лениво лает собака, — начинается рабочий приисковый день.

У огонька перед землянкой Ковальчуков хмуро сидело несколько мужиков. Сын-большак, отец Кирюшки, зять Фрол и подросток Ефим. Всем хотелось спать, а работа не ждет. Баб было три — мать Кирюшки, Дарья, жена Фрола, Марья, и сестра Кирюшки, Анисья, молодая девушка. Марья возилась в сторонке со своим ребенком, Дарья варила кашу.

Анисья починяла дедушке чекмень. У Дарьи сейчас было сердитое лицо. Это была такая серьезная, заботливая женщина, которой держался весь дом. Семья Ковальчуков жила бедно и кое-как перебивалась. Было о чем подумать, когда за обед садились восемь душ. Одного хлеба не напасешься, не говоря уж о харчах и приварке. И сейчас Дарья сердилась на то, что охотник Емелька притащился совсем не-во-время. Дед Елизар, наверно, позовет его есть, а варево вперед рассчитано по ложкам.

— «Шалый человек... — сердито думала Дарья, размешивая в котелке разваривавшуюся кашу. — Неохота работать, вот и шляется по лесу. И шел бы своей дорогой, а то к чужому вáреву подсел. Нет стыда-то, вот и сидит»...

Действительно, чего боялась Дарья, то и случилось. Дед Елизар, когда сняли котелок с огня, приговорил Емельку:

— Похлебай с нами каши-то, Емельян... Оно хорошо горяченького поесть.

— А уж не знаю, право... — ответил Емельян, глядя в сторону, — ему есть хотелось, и было немного совестно. — Пожалуй...

Вся семья уселась на траве. Ели кашу прямо из котелка, тщательно облизывая ложки. Говорить за едой не полагалось. Кирюшка ел за большого и все смотрел на Емельку, которого давно знал. Да и кто его не знает в Висиме? Емельке было уже под шестьдесят, в бороде все волосы поседели, а все его считали не настоящим мужиком. Так, просто, Емелька. Сегодня одно поработает, завтра другое, а потом пропадет недели на две в горы на охоту, — какой же это настоящий мужик? И одевался он, как нищий: — рваный армячишка, рваная шапчонка, рваные сапоги, а то и лапти. Емелька жил бобылем и меньше всего на свете обращал внимания на самого себя. Жил он, как птица небесная, не заботясь о завтрашнем дне.

— Куда поволокся-то, Емельян? — спрашивал дед, откладывая свою ложку.

— А на Осиновую гору... — неохотно ответил Емелька, не любивший таких расспросов, когда шел на охоту, — как раз сглазят. — Меня там дьячок Матвеич ждет...

— Оленей будете гонять по лесу?

— Какие там олени...

Емелька нахмурился и замолчал. А потом поднялся и сурово проговорил:

— А ты бы, дедушка Елизар, как-нибудь зашел ко мне... Поговорить надо. А то к Матвеичу заверни в воскресенье...

— Ладно, как-нибудь удосужусь...

— Спасибо за хлеб-за-соль,— проговорил Емелька, поднимая с земли свое ружьишко. — Мне пора... Так ты тово, дедушка Елизар...

— Ладно, ладно.

Емелька, не торопясь, зашагал под гору. Ноги у него были кривые, и он их тащил, точно шел на чужих ногах. Мужики проводили его с улыбкой, а потом отец Кирюшки сказал, обращаясь к бабам:

— Эх, бабы не догадались вы... Надо бы которой дорогу ему перейти, — не пошел бы он на охоту, а воротился домой. Дьячок-то и не дождался бы...

— Слышь, дело у него есть! — поддакнул зять Фрол. — Тоже и скажет человек...

— Бесстыжие глаза, — ворчала Дарья. — Я и то обсчиталась с кашей-то. — Кирюшку забыла, а тут еще Емельку принесло.

Дед Елизар не любил, когда за глаза говорят про людей нехорошо, и строго заметил:

— Вы у себя во рту зубы считайте, а Емельяна оставьте. Ведь, никого, слава богу, он не обидел, — ну, и молчите. У каждого свое дело есть... Ну, Кирюшка, пора, брат, на работу. Каши приисковой ты наелся, а теперь отведай приисковой нашей работы... Давно на прииск просился.

Старик пошел к приисковой таратайке (тележка на двух колесах), к которой привязана была чалая лошадь и, не торопясь, начал ее обряжать: надел хомут и шлею, завел в оглобли, заложил дугу и, покряхтывая, затянул супонь. Кирюшка в это время успел надеть седелку и перекинул чересседельник. Чалко не любил, когда подтягивали чересседельник, и лягался задней ногой.

— Не любишь... а? — ласково ворчал старик, захлестывая ремень вокруг оглобли. — Не любишь, говорю? Ах, ты, прокурат... Ну, Кирюшка, садись на козлы, а я барином сяду в таратайку.

Старик с трудом забрался в тележку, а Кирюшка занял свое место на деревянном облучке. Чалко не заставлял себя понукать и рысцой побежал по маленькой дорожке под гору, — он знал, куда нужно было ехать. Дед Елизар стоял на ногах, придерживаясь одной рукой за грядку таратайки, а другой защитил глаза от солнца. Он смотрел на приисковую дорогу, огибавшую Момыниху, и думал вслух:

— Ишь, как вышагивает Емельян-то... Видишь его, Кирюшка?

— Вижу, дедушка...

— Зачем человека обижать?.. Не обидел он нас, а Дарья ворчит. Хлеб-соль — заемное дело... Брось кусок хлеба назад, а он впереди тебя очутится. Вот как сказывали старинные люди...

II

Делянка Ковальчуков была в полуверсте от землянки, так что было видно все, что̀ делается «дома», и наоборот. Кирюшка попал на прииск в первый раз и с удивлением смотрел кругом.

— Дедушка, кто же столько земли изрыл? — спрашивал он, оглядывая старые свалки и отвалы, глубокие ямы, канавы и забои.

— А все мы же, Кирюшка, — не без самодовольства объяснил старик. — Наша работа... На барина было прежде достаточно пороблено, а теперь робим на себя. Што добыл, то и твое...

Отвалами и свалками на промыслах называются те земляные валы, которые образуются из верхних пластов земли, не содержащих драгоценного металла, — это пустая порода или шурфы, как говорят рабочие, и из промытых песков и галек. Забой — глубокая яма, из которой добывают пески.

— Ишь, как Белохвосты поворачивают! — похвалил старик, когда они проезжали мимо одной старательской делянки. — Эй, здравствуй, Архип...

Из четырехугольной глубокой ямы ответил рыжебородый и кривой на левый глаз мужик:

— И ты здравствуй... Нового старателя везешь?

— Около того...

— Что же, кошку не посадишь править...

Кирюшка знал Белохвостов и обрадовался, когда к забою подъехал на таратайке мальчик лет десяти, младший сын Белохвоста.

— Здорово, Тимка...

— Здравствуй... — ответил равнодушно Тимка. — Робить приехал?

— Робить...

Забой у Белохвостов был выстроен не так, как у Ковальчуков. Яма в четыре квадратных сажени была вырыта без въезда, и пески выбрасывали сначала наверх, на деревянные полати, а потом уже Тимка нагружал ими свою таратайку. Получалась двойная работа, но Белохвосты

были ленивы и не хотели сделать спуска в забой, по которому таратайка могла бы въезжать в самую яму.

— Ужо как-нибудь устроим... — говорил кривой Белохвост почти каждый день. — Куды способнее будет. Вот у старика Ковальчука как ловко налажено и у других тоже. Вот ужо...

Этим дело и кончалось. Белохвост любил поговорить и чистосердечно завидовал другим, у которых как-то все точно само собой делается.

— Ну, вот мы и дома, Кирюшка, — заявил дедушка Елизар, когда таратайка подкатилась к их забою.

Яма, в которой работали Ковальчуки, была такой же величины, как и у Белохвостов, с той разницей, что можно было таратайку запячивать по спуску прямо на дно, где и грузились в нее пески. Скоро подошли мужики. Собственно, в забое работали двое — отец Кирюшки, Парфен, и зять Фрол. Один кайлом выворачивал слежавшийся песчаный пласт, а другой нагружал им таратайку. Это самая тяжелая работа, и старик Елизар только наблюдал и хлопотал около промывки. Раньше пески отвозила на таратайке Анисья, а теперь ее заменил Кирюшка.

— Ну, Кирюшка, пошевеливай, — проговорил отец, нагрузив первую таратайку синевато-серым песком. — Вези бабам гостинцу... Они тебе вот какое спасибо скажут.

Чалко отлично знал дорогу, вывез таратайку из забоя и начал осторожно спускаться к Мартьяну, где происходила промывка песков. Но на полдороге он чуть не потерпел крушение. Откуда-то с боковой дорожки на него налетел Тимка, ехавший к себе в забой уже с пустой таратайкой.

— Эй, ты, ворона, берегись! — крикнул Тимка, размахивая вожжами.

Таратайки зацепились колесами, и Кирюшка едва усидел, а Тимка нарочно погонял лошадь, чтобы перевернуть таратайку Кирюшки.

— Перестань баловать, пострел! — крикнул с промывки дедушка Елизар. — Вот ужо я тебя, Тимка...

Тимка обругал Кирюшку, взмахнул вожжами и ускакал.

Промывка песков была устроена на самом берегу реки Мартьяна. Дедушка Елизар при помощи отводной канавки устроил маленький прудок, из которого вода по деревянному жолобу падала на вашгерд. Устройство вашгерда было самое простое: деревянный, длинный ящик с открытым боком и покатым дном, прикрытый сверху продырявлен-

ным, как терка, железным листом. Этот железный лист называется грохотом. Содержащие платину пески сваливаются на грохот, из жолоба пускается на них струя воды, рабочие размешивают эти пески коротенькими, железными лопаточками-скребками, помогая воде уносить глину и мелкий песок. В результате такой промывки на грохоте остаются одни крупные гальки, которые сбрасываются в сторону, а на покатом дне деревянного ящика постепенно накопляется мелкий, черный песочек, «шлих», содержащий в себе зерна платины. Платина и шлих тяжелее обыкновенного песка, и вода не может их снести.

Кирюшка подъехал к самому вашгердту, у которого его уже ждали мать Дарья и Анисья. Дедушка Елизар снял прикрепленную позади таратайки палку, поддерживавшую откидное дно, и песок высыпался на землю.

— Ну, слава богу, вот и стал ты, Кирюшка, теперь уж настоящий старатель, — ласково говорил старик, поднимая деревянное дно таратайки. — На твое счастье будем сегодня промывать платину...

Анисья и Дарья принялись дружно за работу, размешивая своими скребками пески на грохоте. Ефим подбрасывал им новые порции, а в промежутках накладывал в ручную тачку перемывки, т.-е. скинутые с грохота гальки и камни и отвозил их на ближайшую свалку. Дедушка Елизар поправлял плотину, попорченную недавним ливнем, и все что-то бормотал себе под нос.

— Эх, кабы лошадь... вторую лошадь... Можно бы второй грохот поставить. Ей-богу... Ефим бы с Марьей стали орудовать у второго грохота, а я бы перемывки отвозил. Да... Вон у Шинкаренков как поворачивают с двумя-то лошадьми. Тоже у Кисляковых, у Союзников... Ах, кабы вторая лошадь!..

Мысль о второй лошади преследовала дедушку Елизара уже целых десять лет. Вдвое бы работа закипела... Эту вторую лошадь он видел даже во сне. Но мечты так и оставались мечтами. Семья была бедная, и едва зарабатывала на хлеб. Конечно, другим выпадало счастье, как Шкарабурам: — напали на хорошую платину, и сразу вся семья поднялась на ноги. Сразу трех лошадей купили, избу новую поставили, младшего сына женили, — одним словом, богатство.

— Эх, нет второй лошади... — думал вслух старик, наблюдая, как маленький Кирюшка подвозит пески.

Кирюшка был совершенно счастлив. Он почувствовал себя настоящим мужиком-старателем. На золотых и платиновых промыслах стара-



Кирюшка занял свое место на деревянном облучке.

телями называют тех рабочих, которые занимаются работой от себя, т.-е. берут на прииске небольшую делянку, добывают из нее золото или платину и за условленную плату сдают ее хозяину прииска. На платиновых промыслах в описываемое нами время цена на старательскую платину стояла очень низкая, всего 25 копеек за золотник. При средней ровной добыче, как у Ковальчуков, в день намывалось около шести золотников, что составляло ежедневный заработок всей семьи рубля полтора. На эти деньги, при самых скромных потребностях, было очень трудно перебиваться. За стол садились восемь ртов, а потом на приисковом деле всякая одежда, а особенно обувь — горела огнем. Все хозяйственные расчеты лежали на старшей снохе, Дарье, и ей приходилось поневоле высчитывать каждый кусок. Работая скребком, она в уме соображала, что они будут обедать, а главное — что ужинать. Взятого из дому хлеба не хватит до конца недели, как она ни прикидывала в уме.

Прежние расчеты разбивались теперь присутствием нового едока в лице Кирюшки. Мальчик, конечно, не велик, а съест с большого, особенно когда наработается. Дарья опытным материнским глазом наблюдала за своим будущим кормильцем и, с одной стороны, радовалась, что он уже не даром будет есть свой детский хлеб, а с другой, — жалела его: — хорошо работать сейчас, в хорошую погоду, а каково ему будет мокнуть в ненастье, особенно осенью.

Семья Ковальчуков проживала в Висимо-Шайтанском заводе, попросту — в Висиме, как называли рабочие. Дома оставалась одна старуха бабушка Парасковья. Она вела свое хозяйство: корову наблюдала, овец, кур и разную домашность. С ней обыкновенно оставался до последнего времени и Кирюшка. Мальчик помогал во всем бабушке и по-своему был полезен. Но весной умерла одна дальняя родственница Ковальчуков, оставившая девочку лет восьми, круглую сироту. Ей уж совсем некуда было деваться, и Ковальчуки ее взяли к себе.

— Беднее не будем, — решил дедушка Елизар. — А девчонка подрастет, — работница в дому будет.

Дарья долго не решалась взять к себе сироту. Самим есть нечего, а тут еще лишний рот. И девчонку жаль, и своей заботы по горло. Но все вышло как-то само собой. Взяли девочку всего на несколько дней, покормили, приодели в разные обносочки, — что же, пусть пока поживет. Сиротка так и прижилась у Ковальчуков. Главное, жаль, — девчонка совсем хорошая. Послушная такая и смышленая.

— Собаку и ту жаль выгонять на улицу, — рассуждал старый Ковальчук, — а тут живой человек. Вырастет большая, — спасибо скажет.

— Есть побогаче нас, — те бы и брали, — ворчала Дарья.

— А бог-то Дарья? Ах, какая ты... Нам за сиротку бог счастья пошлет.

Теперь бабушка Парасковья могла управляться уже без помощи Кирюшки, и поэтому его отправили на прииск.

III

До обеда Кирюшка работал с удовольствием. Да это и была не работа, а одно развлечение. К обеду он так проголодался, что едва мог дождаться, когда дедушка кончит «доводить» намытую платину.

— Дедушка, скоро? — приставал Кирюшка.

— Подождешь...

— Вон бабы уж пошли к балагану.

— Ступай и ты, коли охота. Ишь, загорелось...

Другие мужики не шли, и Кирюшка остался дожидаться. Отец с зятем подравнивали съезд в забой, Ефим налаживал доски для откатки на ручной тачке.

«Доводил» платину всегда сам старик. Работы на грохоте прекращались, струя воды уменьшалась, и дедушка Елизар, сидя на корточках, осторожно отмучивал оставшиеся пески на покатом дне вашгерда, что делал небольшой щеткой. Он проводил щеткой вверх, поднимая пески, и вода уносила легкие частицы, оставляя шлихи и платину. Все это нужно было делать очень осторожно, чтобы водяная струя не унесла вместе с песком и мелкую платину. Точно так же были «отмучены» шлихи от платины, и, в конце концов, осталась одна платина, имевшая рыжеватый вид. Старик собрал ее на железную лопаточку и, прежде чем спустить в железную кружку, проговорил:

— Ну, Кирюшка, не велико твое счастье... Будет-не-будет золотника с четыре. Не велико богатство...

— Дедушка, пойдем...

— Што, видно, брюхо-то не зеркало?.. — смеялся старик, догадавшись, в чем дело. — Проголодался?

У землянки уже давно курился веселый огонек, как и у других старательских балаганов и избушек. Солнце так и пекло. Старик отпряг

Чалко, спутал ему передние ноги, повесил на шею медное ботало (колокольчик) и пустил в лес. Лошадь была тоже голодна и с жадностью накинулась на траву.

Обед готовила Марья, остававшаяся с ребенком дома. Бабы хозяйничали по очереди: — один день одна, другой — другая. Впрочем, и хозяйство было не велико: всего-то сварить какое-нибудь горячее варево.

Утром ели пшенную кашу, а к обеду Марья сварила щи из крупы. Для «скусу» к вареву были прибавлены сухая рыба и зеленый лук. Наработавшиеся люди ели молча, не торопясь, и, откусывая хлеб, придерживали его ладонью, чтобы не уронить на землю ни одной крошки дара божьего. Голодный Кирюшка начал, было, торопиться и набивать себе полный рот, но дедушка его остановил:

— Куда торопишься-то, Кирюшка? Порядку не знаешь!..

Мать тоже прикрикнула на озорника. Кирюшка присмирел и начал ездить своей ложкой в котелок вместе с другими мужиками.

— Вот так-то лучше будет, — похвалил его дедушка, гладя по голове. — В крестьянах, где землю пашут, когда нанимают работника, так сперва посадят его обедать: — ежели начнет торопиться, значит, плохой работник будет, а ежели ест степенно, — хороший. Так-то, Кирюшка...

Пообедав, все мужики улеглись спать. Дедушка ушел в землянку, а остальные устроились прямо на траве. Из баб легла спать одна Анисья. Кирюшка остался с матерью и решительно не знал, что ему делать. Его выручил Тимка, который шел куда-то по дороге и поманил его издали рукой. Кирюшка полетел под гору стрелой.

— Смотри, долго не бегай! — крикнула ему вслед Дарья.

— Ну, пойдем... — говорил Тимка. — У нас тоже все мужики улеглись спать. Куда пойдем-то?

— Не знаю...

— Или на казенную машину пойдем колотить Егорку-погонщика, или в контору — дразнить собаку у штейгеря Мохова? Он давно грозится убить меня до смерти.

— Пойдем в контору... Только я боюсь, Тимка.

— Чего же бояться, дурень?

— А ежели там начальство?

— Ну тоже и скажет... Мы еще у Мохова чаю напьемся, он, ведь, нам сватом приходится, а то у Миныча в шашки поиграем.

Мальчики вперегонку побежали по дороге налево. Они еще не знали усталости, как большие, а рады были каждому случаю повеселиться и поиграть.

До конторы было рукой подать. Это был низенький, деревянный домик, стоявший на угоре, над самым Мартьяном. Все течение реки было изрыто, и работы ушли вниз по реке и вверх. Около конторы не было ни ограды, ни загородки. Отдельно стояли амбары с разной приисковой снастью и харчами да конюшни. Здание конторы делилось на две половины: в передней жил смотритель с женой, а в задней была людская и кухня. Сейчас под окном кухни в тени на лавочке сидели штейгер Мохов, усатый с бритым подбородком мужчина, и Миныч, худенький, сморщенный человечек из заводских служащих, отвечавший сейчас за коморника и письмоводителя.

— Ну-ка, ходи, Миныч!.. — говорил Мохов, передвигая на игральной доске свою шашку. — Ну, шевели бородой!..

Миныч долго смотрел слезившимися глазами на выдвинутую Моховым шашку, а потом быстро схватил другую шашку, понюхал ее и с торжеством проговорил:

— А я фукаю твою шашку... хе-хе!..

Мохов даже привскочил от изумления. Он, действительно, прозевал один ход, и теперь вся игра была проиграна.

— Ну-ка, теперь ходи!.. Ну, ну...

Мохов долго рассматривал шашки, чесал свой бритый затылок и кончил тем, что перемешал все шашки. Теперь уж Миныч вскочил и даже замахнулся на него своей чахлой ручонкой.

— Это не по игре, Мохов... Так нельзя. За это и в шею попадает, я, брат, шутить не люблю.

Игроки поссорились, поругались и опять принялись играть. У ног Мохова спала черная собачонка, свернувшись. Тимка подмигнул Кирюшке и незаметно бросил камушком в собачонку. Та взвизгнула и заворчала. Она узнала своего врага.

— Ты опять? — крикнул Мохов? — Голову оторву.

— Я, ей богу, ничего... — божился Тимка. — Она у тебя бешеная, вот и визжит.

— Ладно, разговаривай. Я с тобой мелкими рассчитаюсь, с озорником.

Мохову нужно было играть, чем Тимка и воспользовался. Он дразнил собаку до того, что та захрипела. Мохов несколько раз пытался схватить озорника за вихор, но тот увертывался с замечательной ловкостью.

Вдобавок Миныч опять сфукал шашку, и рассвирепевший Мохов бросился за Тимкой. Ему бы пришлось плохо, потому что Мохов уже догнал его, но с крыльца конторы послышался строгий женский голос:

— Мохов, как вам не стыдно! Ведь вы не маленький.

— А ежели он, Евпраксия Никандровна, дразнит собаку?! Да я его пополам переломлю.

— Перестаньте, нехорошо. Вы такой большой, и готовы драться с мальчуганом.

Кирюшка испугался, когда увидал барыню. Он, вообще, боялся всяких господ и хотел незаметно улизнуть, но его остановил тот же женский голос.

— Мальчик, подойди сюда... Ты чей?

— Ковальчук...

— Внучек Елизара?

— Да...

— Я что-то тебя не видала. Недавно на прииске?

— Первый день.

Подошел Миныч, погладил Кирюшку по голове и проговорил:

— В школу бы, сударыня, его определить. Самый раз учиться да учиться... Семья бедная, — вот и его вывели на работу. Трудно будет такому маленькому.

Кирюшка стоял и смотрел на барыню во все глаза. Ничего подобного он еще не видал: волосы острижены по-мужичьи, в очках, и курит папиросу, — как Мохов.

— Кирюшка, пора домой... — издали крикнул Тимка.

Когда они опять бегом возвращались домой, Тимка объяснил приятелю:

— Видел нашу барыню? Она только называется барыней, а сама солдатка... Все солдатки цыгарки курят. А ничего, добрая, даром, что солдатка. Баб все лечит и ребятишек тоже. По праздникам ребятам пряников дает.

Вторая половина дня прошла так же, как и первая. Кирюшка уже знал все порядки и старался ездить так же, как Тимка. Отшабашили поздно, когда закатилось солнце. Дедушка опять «доводил» платину и только покачал головой, когда собрал бурый, тяжелый песочек на железную лопаточку.

— Эх, плохое твое счастье, Кирюшка, — заметил он. А я думал, мы с тобой заробим на другую лошадь. Придется, видно, подождать.

IV

Приисковые дни идут быстро и мало чем отличаются один от другого. В какую-нибудь неделю Кирюшка освоился с своим новым положением настолько, что был на прииске, как у себя дома. Вместе с Тимкой он обошел все работы. Везде работали старатели, и все они жили так же, как Ковальчуки и Белохвосты. Вся разница заключалась только в том, что у некоторых «шла» платина, а остальные работали из-за хлеба на воду. Впрочем, счастливцев было немного, хотя все и говорили только о них, преувеличивая их богатство.

— У нас тоже пойдет платина, — хвастал Тимка. Мохов-то приходится нам сватом, ну, значит, какую делянку хочем, — ту и берем.

Старатели завидовали Белохвостам, пользовавшимся своим родством с штейгером. Но пока из этого родства ничего не выходило. Белохвосты переменили уже несколько делянок, а платина все-таки не шла. На одной делянке вышла самая обидная история. Рядом взял делянку самый бедный старатель, Афоня Канусик, у которого не было даже лошади, и он работал только вдвоем с женой. И вдруг у этого Канусика «объявилась богатая платина». В каких-нибудь две недели он заработал целое состояние — рублей двести. Сейчас же явилась, конечно лошадь, нанята работница, и Канусики «встали на ноги», как говорят на промыслах. Рядом, на делянке Белохвостов ничего не было, и они рвали и метали.

— Вы бы платину-то поискали в карманах у свата Мохова, — подшучивали над ними другие старатели. — Нам што дадут, то и берем, а вы работаете на выбор.

Старик Белохвост ругался и гнал старателей в три шеи.

Свои хозяйские работы поставлены были только в одном месте, под горой Момынихой. Здесь работала «машина», так называемая чаша Камарницкого. Она приводилась в движение парой лошадей, крутившихся без конца у своего столба. Погонщиком стоял при них тот самый Егорка, которого Тимка периодически ходил колотить. Дело в том, что Егорке нельзя было ни на одну минуту оставлять лошадей, чем Тимка и пользовался. Он бросал в Егорку комьями свежей глины, подхлестывал своим кнутиком, а то запускал камнем. Егорка сгорал от желания защитить свою честь и отколотить разбойника, но остановить машину было нельзя ни на одну минуту.

— Егорка, вылезай!.. — кричал Тимка, — я тебе покажу, как вашего брата по шее колотят.

Кирюшке не нравилась эта травля. Он, вообще, отличался миролюбивым характером и постоянно сдерживал драчуна Тимку, который тоже не был злым, а любил подурачиться.

Промывка платины на машине происходила самым несложным образом, как и на старательских вашгердах, хотя и в значительно больших размерах. Основанием всего служил громадный котел из продырявленного котельного железа, заменявший грохот. В него сваливалось песку несколько десятков пудов. Перемешивался этот песок в чаше особыми пестами, вращавшимися на крестовине. Промытый песок и глина уносилась точно так же по деревянному шлюзу, как и на вашгерде, и так же платина оставалась в «головке» этого шлюза, вместе с черными шлихами. Машина перерабатывала столько, сколько не сработать на тридцати вашгердах, в чем и заключалось ее преимущество.

Самое интересное время на промыслах наступало в субботу вечером, когда кончалась недельная работа и все рабочие собирались со своими железными кружками у приисковой конторы. Каждый торопился поскорее сдать намытую платину. Приемка происходила на крыльце, где за столом сидел смотритель прииска Федор Николаевич, чахоточный длинный господин, ходивший в поддевке и красной рубашке-косоворотке. Вешал золото штейгер Мохов, а Миныч записывал в книгу. Федор Николаевич вызывал сдатчика и уплачивал деньги.

— Афанасий Канусик... шестьдесят четыре рубля.

В толпе происходило движение. Этому Канусику везло какое-то бешеное счастье. Особенно роптал старик Белохвост, точно Канусик намыл его платину. Другие завидовали молча. Что же, кому бог пошлет какое счастье!.. Некоторые угнетенно вздыхали, почесывая в затылках. Находились шутники, которые поддразнивали сердившегося Белохвоста.

— Давал ты ошибку вместе с сватом Моховым... Што бы тебе делянку-то рядом занять. Всего-то десяток сажен подальше.

— А кто его знал, братцы, — оправдывался Белохвост. — Я и сам думал взять делянку... Ей богу, думал! Мохов же и отсоветовал, чтобы ему пусто было.

— Обманул он тебя, а еще сват называется.

Приисковым ребятам сдача платины была настоящим праздником. Они шныряли в толпе, как воробьи, везде лезли, получали иногда здоровые

толчки и чувствовали себя счастливыми. Впереди было целое воскресенье, когда не нужно было возить песок. Особенно торжествовал и дурачился Тимка. Для субботы он мирился даже с Егоркой, который, в свою очередь, тоже прощал ему всякие прегрешения. Они теперь вместе дразнили собаку Мохова, которая называлась Крымзой.

— Пойдем, солдатку подразним, — предлагал Тимка.

— Я боюсь... — отказывался Егорка. — Пусть Кирюшка идет.

Кирюшка тоже отказался. Это до того возмутило Тимку, что он схватил камень и запустил им в непокладистого товарища. Камень угодил прямо в глаз, так что Кирюшка громко вскрикнул и присел, схватившись руками за лицо. На его крик сбежались бабы, а Дарья так запричитала, что Кирюшка подумал, что он уж умирает.

— Ах, батюшки, батюшки... — голосила Дарья не своим голосом. — Убили мальчонку до смерти. Куда я с ним, с кривым-то денусь? Ой, батюшки... Да не разбойник ли Тимка!.. Убить его мало, озорника...

На шум и крик собравшейся толпы в окне показалась «солдатка» и когда узнала в чем дело, велела привести Кирюшку к себе в комнату. Она раскрыла ушибленный глаз, начинающий затекать багровой опухолью, внимательно его осмотрела и успокоила Дарью:

— Ничего, Дарья... Глаз цел. Я сейчас сделаю примочку из арники, и все через неделю пройдет.

Кирюшка горько плакал от боли, главным образом, — от испуга.

— Какой он маленький, — удивлялась Евпраксия Никандровна, делая компресс. — Ведь это внучек дедушки Елизара?

— Он самый...

— Совсем еще ребенок.

Она его гладила по спутавшимся волосам и невольно любовалась, — такой славный мальчишка, и рожица такая умная.

Эта сцена закончилась совершенно неожиданным предложением Евпраксии Никандровны:

— Отдайте нам мальчика, Дарья?

— Как же это отдать, барыня? — удивилась Дарья.

— А так... Пусть живет у нас. На приисковой работе вы совсем замучите такого малыша, а у нас ему будет хорошо. Нам все равно, нужно мальчика... Он шутя бы научился грамоте, потом мы его определили бы в контору...

— Что вы, барыня! Куда уж нам, мужикам...

— А вы подумайте хорошенько, посоветуйтесь со своими.

В первую минуту такое предложение показалось Дарье совершенно нелепым, и ей сделалось почему-то страшно жаль Кирюшку. Сейчас хотя и бедно жили, но жили одной своей семьей, а тут приходилось отдавать родное детище в чужие люди, точно сироту. Дарья даже всплакнула, когда представила себе Кирюшку не дома. Но потом, раздумавшись, она посомневалась в своей правоте и передала все мужу. Парфен сначала не понял, что это значит, а потом проговорил:

— Конешно, Кирюшке там будет лучше... Уж это што говорить. Штейгером может быть, как Мохов. А только оно тово... дело совсем особенное... Надо с родителем переговорить, как уж он вырешит.

К удивлению Дарьи дедушка Елизар страшно рассердился и даже затопал ногами.

— Это еще што придумали, выдумщики? Попадет Кирюшка в контору и будет второй Миныч... Не хочу!.. И слышать не хочу... Вы польстились на легкое житье, дескать, будем есть вволю, работы никакой — в том роде, как барин. А я вот и не хочу... Пусть остается мужиком... Так уж ему на роду написано. Да... Ишь, чего захотели, выдумщики!

Парфен, по обыкновению, угрюмо молчал, а Дарья взъелась:

— И никто ничего не говорил... Вот нисколичко. Барыня сказала, а мы ничего не знаем. Она пожалела Кирюшку. Только и всего... Твоя воля: как хочешь, так и делай.

— Барыня, барыня... Сегодня ваша барыня сидит в конторе, чай пьет, а завтра у ней и след простыл. Куда мы тогда с Кирюшкой денемся, ежели он от мужиков отстанет, а к господам не пристанет? Не хочу, одним словом... Пустое.

— Ступай сам и говори с барыней.

— И скажу... мое: не отдам.

Кирюшка слышал весь этот разговор и понял только одно, что дедушка сердится. Конторы он побаивался, как волостного правления. Это был чисто детский страх.

V

Дорога с Авроринского прииска в Висим очень красива. Сначала — горный перевал к деревушке Захаровой, а потом уже по заводской дороге, — всего верст десять. Захарова состояла всего из одной улицы, да и та наполовину пустовала: часть изб стояла заколоченная, а на месте других оставались одни пустыри.

— Дедушка, здесь пожар был? — спрашивал Кирюшка, не видавший еще такой картины разорения.

— Около того... После воли половина Захаровой ушла в Оренбургскую губернию. Не захотели заводской да приисковой работы, а захотели есть свой крестьянский хлеб.

— Им лучше, дедушка?

— Хорошему человеку везде хорошо... Из Висима тоже уехали тогда семей с полтораста. Которые вернулись... Не поглянулся свой-то хлеб, особливо бабам, потому как по крестьянству всего тяжельше бабе. Много тогда поразорилось народу. Которые так и совсем нищими воротились. Ох-хо-хо!..

После Захаровой у речки оставались громадные свалки и отвалы выработанного платинового прииска Рублевик. Все понемногу покрывалось травой и мелкой лесной порослью. Проезжая через речку по крутому деревянному мосту, дедушка Елизар тяжело вздохнул и проговорил:

— Ох, много было пороблено на этом самом Рублевике, Кирюшка... Тогда мы были еще господские, — работали на барина. Строго было, страсть... А платина какая шла, — нынче такой платины и во сне не увидишь. В шапке принесешь песку, — и то золотник намоешь. Страшенное богачество было... Самородки попадались по фунту и больше, тоже на Рублевике. Другого такого места и не найти. У нас на Мартьяне, разе платина? — так, кот наплакал.

Дедушка и Кирюшка ехали на таратайке, а остальные шли пешком. Все торопились, чтобы поспеть домой засветло. Баушка Парасковья, поди, уж ждет с баней. По дороге попадались другие старатели, тоже торопившиеся домой.

— Ну-ка, Кирюшка, погоняй коня, говорил дедушка, когда они поднялись от Рублевика в гору. — Пока другие бредут, мы успеем и в баню сходить.

Чалко точно понимал, что говорят, и сам прибавил шагу. Когда таратайка бойко покатилась по широкой заводской дороге, у дедушки Елизара только голова тряслась. Кирюшка стоял на ногах, оглядывался и смеялся. Он забыл про свой подбитый глаз.

— Ох, всю душеньку вытрясет! — жаловался дедушка, хватаясь за грядки таратайки. — Ты камни-то объезжай, Кирюшка...

Дорога шла сосновым леском, потом поднялась в горку, потом опустилась в ложок, потом обогнула какой-то увал и круто спустилась

к горной речонке Висиму, огибавшей Пугину гору. Дальше пошли по сторонам уже покосы, а лес остался далеко в стороне.

Висимо-Шайтанский завод раскидал свои домики на месте встречи трех горных речек — реки Висима, реки Утки и реки Шайтанки. Он занимал горную котловину и показывался только с последней возвышенности. Все три речки соединялись в одну, которая шла дальше под названием Утки. Река Шайтанка образовала главный или старый заводский пруд, кругом которого расселились кержаки, как называют в горных заводах староверов. На правом берегу пруда лежала Нагорная улица, а на левом — Гнилой конец и Пеньковка. Сейчас за прудом поднималась отлогая, покрытая покосами, Кокурникова гора. Реки Утка и Висим сливались в новый пруд, устроенный недавно. Здесь река Висим делила селенье на два конца — Туляцкий и Хохлацкий. Староверы были первыми заводскими поселенцами, а хохлы и туляки были «пригнаны» на Урал только в тридцатых годах настоящего столетия. Собственно завод, т.-е. доменная печь и фабрика, залегли в глубокой яме под плотиной старого пруда. Издали вид на завод был очень красив, как и на другие уральские заводы.

Изба Ковальчуков стояла в хохлацком конце, — переехать деревянный мост через реку Висим, взять в гору налево, где стояла печь для обжигания извести, и повернуть в улицу.

— Ну, вот мы, слава богу, и дома... — проговорил дедушка Елизар, с трудом вылезая из таратайки. — Ох, всю поясницу разломило...

Ворота им отворила приемыш Настя, худенькая, черноглазая девочка с русой косой хвостиком.

— Поворачивайся живее, — грубо крикнул на нее Кирюшка, подражая своему приятелю Тимке.

Настя покраснела от натуги, отворяя тяжелые ворота, но ничего не ответила. Она еще не привыкла к новой семье и всех боялась.

— Баня готова, Настюшка? — спрашивал дедушка, охая.

— Баушка Прасковья истопила... — тоненьким голоском ответила девочка переминаясь босыми ногами.

Изба у Ковальчуков была незавидная, особенно по такой большой семье. В передней избе жили старики и ребята, а в задней — молодые. Всем было тесно, а выделить молодых было не на что. Так и перебивались из года в год. Старый сарай давно уж валился и требовал починки, но тоже «руки не доходили», как говорил дедушка. И баня была старая и совсем вросла в землю. Баушка Прасковья, сгорбленная и

сморщенная старуха с слезившимися глазами, всегда что-то ворчала себе под нос и вечно охала. Она встретила приехавших не особенно приветливо и точно удивилась, что они взяли да и приехали. Впрочем, внучка Кирюшку она любила.

— Ну, что, старатель? — спрашивала баушка, гладя его по голове.— Отведал приискового житья? Што это у тебя глаз-то?

— Ничего, баушка...

— Поглянулось?

— Ище как... Лучше не надо.

— А глаз-то это у тебя што? Вот наказание!..

— Это, видно, гостинец... — пошутил дедушка.

Глаз у Кирюшки припух, а над глазом образовался большой синяк. Баушка Парасковья только покачала головой. Изувечат парнишку ни за что, а куда с ним, с кривым-то. Ах, ты, грех какой! Уж эти парни всегда так, с гостинцами. Не мало их износил хоть тот же Ефим, пока вырос.

Дедушка парился в бане до беспамятства. Зимой он выскакивал из бани валялся прямо в снегу, а потом опять бежал париться. Сидя на полке и похлестывая веником, старик говорил:

— А я тебя, Кирюшка, в контору не отдам... Ни-ни!.. Будь ты мужиком, и конец тому делу... Слышишь?

— Слышу, — отвечал покорно Кирюшка, не могший себе даже представить, как бы он стал жить в конторе, и что бы стал там делать. — Я и сам не пойду в контору, дедушка.

— Вот молодец... Завтра пряник куплю.

Утром рано поднялись все, кроме Кирюшки, который проспал до того времени, когда заблаговестили к обедне. Его разбудил дедушка.

— Пойдем в церковь, Кирюшка... Будет спать-то.

Кирюшка наскоро умылся и переоделся по-праздничному, т.-е. в новую ситцевую рубаху. Шапки и сапог не полагалось. Из Туляцкого и Хохлацкого концов народ так и валил в церковь. Мужиков было немного, а шли бабы и ребята. Старики между заутреней или обедней сидели около церкви или рядом на базаре. Небольшая деревянная церковь стояла на площади, которая образовалась между двумя прудами. Торговлю на базаре открывали только после обедни. По дороге к церкви дедушка здоровался направо и налево. Все были знакомы между собой, кроме того, не мало попадалось и разной родни. Всех жителей в Висиме считалось около трех тысяч, и все знали друг друга в лицо,

особенно старики. День был ясный, и народу в церкви набралось полно. Кирюшка любил с дедушкой бывать у обедни. Как-то и праздник не в праздник, если не сходить в церковь. Попадались знакомые ребята, которые дразнили Кирюшку:

— Эй, ты, старатель, шапку потерял!.. Где это тебе глаз починивали?

— Кирюшка, не подавись платиной-то... Давай, другой глаз поправим...

Мальчики задирали Кирюшку, и ему очень хотелось подраться, но при дедушке приходилось терпеть. Он довольствовался тем, что показывал озорникам свой кулак.

В церкви уже служба началась, когда они пришли. На правом клиросе дребезжащим, старческим голосом читал и пел один дьячок Матвеич, сгорбленный старик с двумя смешными косичками на затылке. Народу было столько, что руку просунуть негде. Дедушка едва продрался до прилавка старосты, чтобы отдать свой пятачок на свечу.

— Господи, помилуй нас грешных... — шептал дедушка, кладя земные поклоны.

Кирюшка мало молился, а больше смотрел по сторонам. Все были разодеты по-праздничному, особенно бабы. У стариков лица были такие строгие. Когда ребятишки продирались вперед, их оттаскивали без всяких церемоний. На левом клиросе стояли двое заводских служащих и волостной писарь, а на правый к Матвеичу присоединились два поповича и штейгер Мохов, подпевавший басом. Кирюшке все это нравилось, и он старался молиться вместе с дедушкой.

После обедни дедушка дождался священника и о чем-то долго с ним разговаривал. До Кирюшки долетели только последние слова священника.

— А ты не сомневайся... Смело отдавай. После спасибо скажешь.

Дедушка мялся, перебирая в руках свою шляпу. Он несколько раз встряхивал головой, а потом проговорил:

— Уж и не знаю, как этому делу быть...

VI

Из церкви дедушка Елизар прошел на базар, где лавки были уже открыты, и толпа народу все прибывала. Особенно много набралось из Кержацкого конца. Староверы главным образом работали на фабрике или в куренях и щеголяли в халатах из черного сукна и в шелковых шляпах-цилиндрах. На приисках их было очень мало. Базар состоял все-

го из одного ряда лавок, а затем из мелких лавчонок, ларей и просто столов, на которых разложены были разные разности: — горшки, пряники, веревки, обувь.

Дедушка Елизар отправился к знакомому торговцу Макару Яковличу.

— Здравствуй, Макар Яковлич...

— Здравствуй, Елизар... Что, должок принес?

— Плохо платина идет...

— У вас все плохо...

Старик замялся. Ему было и совестно, и нужно было прикупить харчу на целую неделю, а денег на уплату долга не оставалось.

— Повремени с долгом-то, Макар Яковлич. Рассчитаемся как-нибудь...

Макар Яковлич, худенький, краснощекий торговец с длинным носом, маленькими глазками и гнилыми зубами, поломался немного, а потом согласился отпустить товар.

— С вами проторгуешься насквозь, — ворчал он. — Ну, чего будешь брать?

— Известно чего... Крупы надо, соли надо, мучки, соленого моксуна...

На последнем слове язык дедушки Елизара запнулся, точно колесо, наскочившее на камень. Ведь, соленый моксун стоит все 25 копеек, — это уж было роскошью. Тоже вот надо бы взять солонинки, потом старуха наказывала купить горшок, у Анисьи башмаки износились, — словом, целая гора всевозможной мужицкой нужды. Пока дедушка Елизар разбирался с харчом и рассчитывался с Макаром Яковличем, народ столпился у лавки с красным товаром. Слышались галдение, шутки и смех.

— Афоня Канусик красного товару набирает!

— Братцы, смотрите, как Афоня весь базар купит...

У прилавка с красным товаром, действительно, стоял Афоня Канусик, сконфуженный и не знавший, куда ему деваться. Он убежал бы из лавки, если бы не жена, которая его удерживала за рукав.

— Режь ситцу на сарафан, — говорила она, не обращая ни на кого внимания. — Да еще надо кумачу на рубаху, да башмаки новые, да иголку.

Последнее требование заставило всех хохотать.

— Канусиха, а ты уж две иголки сразу покупай. Заодно зориться-то.

Всем было весело, и толпа росла, пока торговец не прогнал всех.

— Чего вы не видали? Уходите... Завидно, вот и пристаете. Тоже, нашли потеху... Сами-то все норовите в долг забрать.

Экой глупый народ, подумаешь... Лезут, как мухи. — Старик все думал о своем разговоре с батюшкой и потряхивал головой. Мысли в его голове двоились, — как-будто и так хорошо, и этак хорошо.

— Дедушка Елизар... окликнул его осторожный голос.

Это был охотник Емельян. Он был в таких же лохмотьях, как всегда, несмотря на праздник. Отведя Елизара в сторону, он уже шопотом проговорил:

— Пойдем к дьячку Матвеичу потолковать... Дело важнеющее.

— Что же, пойдем, — согласился старик.

— Он сейчас выйдет из церкви. Ребят крестят...

Они остались на базаре дожидаться. Героями торга были те старатели у которых платина шла хорошо — Шкарабуры, Сотники, Кисляковы, Шинкаренки. Они набирали и харчей, и разного «панского» товару — чекмени, лошадиную сбрую, сапоги, платки бабам, ребятам гостинцы. Дедушка Елизар смотрел на них и только вздыхал. — Эк, подумаешь, люди как деньгами сорят. Недаром говорится, что у денег глаз нет. Старик опять вспомнил про свою вторую лошадь и совсем закручинился.

— Вот он, Матвеич-то... — шепнул ему Емельян.

Дедушка Елизар купил Кирюшке обещанный пряник и отправил его с покупками домой.

Матвеич усталой, разбитой походкой шагал через площадь к себе домой, подбирая полы распахивавшегося нанкового подрясника. Дедушка Елизар и Емельян догнали его у ворот длинного, деревянного флигеля, где помещался причт заводской церкви: о. дьякон, просвирня и дьячок.

— Матвеич! а мы к тебе... — проговорил Емельян.

— А... — отозвался Матвеич, глядя на них серыми глазами с удивительно маленьким зрачком. — Милости просим...

По пути он достал берестовую табакерку и предложил гостям. Дедушка Елизар отказался, а Емельян с каким-то ожесточением набил себе нос.

— Хорош табачок... Сам делаешь, Матвеич?

— Сам...

Они прошли длинный двор и по деревянной лестнице поднялись в квартиру Матвеича. Это была одна большая комната, разделённая дере-

вянными перегородками на три. В передней, заменявшей кабинет и мастерскую, на стене висели два ружья и небольшой, деревянный шкафик с разной снастью. Это была самая любимая комната Матвеича, потому что из ее окна открывался вид на горы, — впереди стояла зеленая Шульпиха, за ней виднелись Седло, Осиновая и Кирюшкин-Камень; Белая была закрыта Шульпихой.

Матвеича уже ждал кипевший самовар. Емельян пил и ел все, и поэтому с удовольствием выпил две чашки, а Елизар опять отказался.

— Не случалось его пить... — объяснил он. — Да и что пить один кипяток! Жидко очень...

— А ты попробуй...

— Ладно и так.

Матвеич сходил за перегородку, что-то пошептался с женой и послал куда-то младшего сына. Через четверть часа мальчик вернулся с бутылкой водки. Емельян только крякнул и расправил усы.

— А мы к тебе по делу, Матвеич, — объяснил он. — Дельце есть...

— Дело не медведь, в лес не уйдет...

От водки дедушка Елизар не отказался, хотя ему было немного и совестно опивать Матвеича. Бедный дьячок получал меньше, чем заработает любой мужик, и питался только от своего огорода, коровы и охотой. Ему приходилось туго, но Матвеич никогда не жаловался и терпел страшную нужду с достоинством истинного философа. Емельян тоже отличался философскими наклонностями и поэтому тоже не замечал своей вопиющей нищеты. С Матвеичем он был неразлучен и вместе с ним проживал в горах по целым неделям.

После второй рюмки Матвеич снял с себя подрясник и бережно повесил на стенку, — это была величайшая драгоценность в доме. Он теперь остался в одной выбойчатой рубахе, и об его дьячковском звании напоминали только одни косички. Емельян завел разговор о богатых старателях, которые сегодня форсили на базаре деньгами.

— Обрадовались дураки... — злился он. — А какие такие деньги на свете бывают, — и понятия не имеют. Да...

— Ну, они-то знают побольше нас с тобой, — заметил Матвеич, он любил подзадоривать завистливого друга.

— А вот и не знают! Да я, если бы захотел, завтра бы богачом сделался...

— Не пугай, Емеля.

— Верно говорю?.. Я бы им показал...

Выпив залпом рюмку водки, Емельян хлопнул дедушку Елизара по плечу и проговорил:

— Хочешь, озолочу, старичок? И не тебя одного озолочу, а всех старателей... Поминайте Емельку. Да...

Матвеич слушал и только улыбался. Очень уж смешно Емелька хвастается. Дедушка Елизар тоже ухмылялся, чувствуя, как у него начинает кружиться голова.

— Так обогатишь, Емельян? — спрашивал он.

— И очень просто... Вот и Матвеич скажет. Да-а... Знаешь покос Дорони Бородина на Мартьяне?

— Кто его не знает...

— Ну, так тут тебе и богачество... Хоть руками бери платину. А вы одно толмите: Шкарабуры, Шинкаренки, Канусик... тьфу!.. Так Матвеич?

Матвеич только покачал головой.

— На покосе у Дорони Бородина? Тоже и скажет человек...

— Да я же тебе говорю... Вот сейчас с места не сойти! — клялся Емельян. — Прямо богачество...

— Пустяки, — сказал Матвеич. — Ты думаешь, до тебя никто и не пробовал? Весь Мартьян обшарили... Не положил — не ищи.

Емельян окончательно рассердился, схватил шапку и, не простившись, ушел.

— Не от ума человек болтает, — заметил Матвеич. — Сон приснился, а он богачество. Пустяки... Уж я ли не знаю Мартьян? Слава богу, сто раз по нему прошел... Сколько шурфов брошенных по нему. Тоже, добрые люди старались...

Когда дедушка Елизар возвращался от дьячка домой, ему было вдвойне совестно: и дьячка опивал зря, и дела никакого не вышло. Напутал Емелька, — только и всего.

— Поверил человеку, — корил самого себя старик. — Дело...

Старик останавливался, укоризненно качал головой и вслух читал наставления самому себе:

— Кому поверил-то? Емельке... Самый непутевый человек. Стыдно, Елизар, седая твоя борода. Вот как стыдно... Разве я не знаю покоса Дорони Бородина? Хе-хе... Сам-то Емелька золотника платины не добыл, а других, говорит обогачу. В самый раз обогатит... Э-эх! Елизар, нехорошо...

VII

Дома дедушку Елизара ждала новая беда. Дарья рассказала все баушке Парасковье, как барыня на Авроринском прииске просит Кирюшку себе, и как заартачился старик. Женщины со всех сторон обсудили этот вопрос и решили, что старик просто дурит.

— Сбесился наш старик! — говорила баушка Парасковья. — Ему ладно, прожил свой век, а, ведь, Кирюшке еще жить да жить надо...

— Свекровушка, ведь он может штегерем потом быть, — объясняла Дарья. — Ей-богу... Все равно как сейчас Мохов.

— Штегерем?

Баушка Парасковья всплеснула руками. О таком счастьи она не могла и мечтать. Ну, не сбесился ли старик?

Именно, в разгар этих разговоров и вернулся дедушка Елизар. Баушка Парасковья только взглянула на него и окончательно рассердилась:

— Да он совсем пьяный?!. Ох, пропади, моя головушка...

— Я-то пьян? — бодрился дедушка Елизар, стараясь принять строгий вид. — Ничего вы не понимаете, потому как есть вы бабы... хе-хе!.. Пьян да умен, — два угодья в нем. А Емелька дурак... да... то-есть, самый круглый дурак! Сейчас с места не сойти...

— Ты вот больно умен у нас, — ворчала баушка Парасковья. — С какой это такой радости водки проклятой напился?

— А с такой...

— Емелька-то, известно, дурак, а ты с чего это связываешься с ним?

— Дело было... Ничего вы не понимаете.

Дедушка Елизар пришел опять в хорошее настроение и только отмахивался рукой, точно отгонял муху.

Потом баушка Парасковья и Дарья заговорили разом. Обе так и наступали на старика. Сначала дедушка Елизар решительно ничего не мог понять, в чем дело, а потом уже сообразил, что говорят о Кирюшке.

— Эге! Так вот вы как со мной разговариваете? — рассердился он, размахивая рукой. — Со мной... а?

— Ты бы то подумал, как мы перебиваемся да колотимся, — жаловалась баушка Парасковья. — Опять в долг набрал харчей? Дома-то хоть шаром покати... Добрым людям праздник, а у нас все нет ничего...

— Ну, ну, говори?

— И скажу... Все скажу. Как Кирюшку захотела барыня в люди вывести так ты и остребенился. По крайности, сыт и одет будет, и при-

том в тепле... Осенью-то заколеет парнишко на вашей работе. Тоже жаль ребенка... Не велико место.

Дедушка Елизар сел на лавку. Дарья стояла у окна и плакала. С полатей свешивалась голова большака Парфена. При отце сыновья не смели говорить.

— Позовите сюда Кирюшку... — проговорил, наконец, старик.

Дарья побежала на улицу и привела Кирюшку, который немного струсил и остановился на всякий случай поближе к двери.

— Подойди сюда, Кирюшка, — позвал его дедушка.

Он обнял его, погладил по голове и проговорил:

— Ну, а ты как думаешь, Кирюшка? Оставаться тебе в мужиках, али господский легкий хлеб есть?

— Не знаю... — плаксиво ответил Кирюшка.

— Эх, Кирюшка, жаль мне тебя... Вот как жаль!.. Ну, а теперь кончено... Спать хочу.

Что «кончено», — дедушка так и не сказал. После обеда, он, по обыкновению, завалился спать, а вечером куда-то ушел. Баушка Парасковья и Дарья шушукались между собой потихоньку. Анисья надела новый сарафан и новый платок и ушла в хоровод, игравший на горке у «известки». Кирюшка бегал по улице с ребятами.

На другой день ранним утром вся семья отправилась на прииск. Настя опять стояла у ворот и провожала их печальными глазами. Ей было скучно оставаться с баушкой Парасковьей, которая вечно ворчала и охала. Дедушка Елизар был сердит и ни с кем не говорил. В такие минуты к нему никто не подступался. Он все поглядывал на Кирюшку, качал головой и бормотал:

— А жаль... И как еще жаль-то!.. Одна задача...

Когда они были уже близко около Захаровой, начался дождь, смочивший всех до нитки. Особенно плохо доставалось женщинам, у которых подолы сарафанов облипли желтой глиной. К своей делянке приходилось ехать мимо приисковой конторы на Авроринском. «Солдатка» сидела на крыльце за самоваром и подозвала к себе дедушку Елизара.

— Ну, что, старик, отдашь мне мальчика? — спросила она.

Старик по заводской привычке снял шляпу и ответил не вдруг.

— Мы его грамоте выучим, — объясняла «солдатка», раскуривая папиросу.

— Так-то оно так, сударыня-барыня, а только вы изведете парнишку. Отвыкнет он у вас от настоящей мужицкой работы.

— Как знаешь. Я силой не желаю брать...

Вышел Федор Николаич, покашлял, — он постоянно кашлял, — и проговорил:

— Мальчику будет лучше...

Дедушка Елизар думал еще два дня. Как на грех, началось ненастье. Все работали мокрые. Кирюшка корчился от холода на облучке своей таратайки и походил на цыпленка, вытащенного из воды. Главная беда заключалась в том, что и обсушиться за ночь было негде. В землянке стояла тяжелая сырость. Ребенок Марьи неистово кричал целых две ночи.

Дедушка Елизар продолжал думать, и только на третий день сказал:

— Кирюшка, оболокайся[1]...

Они пошли к конторе. Кирюшка шлепал по грязи босиком и дрожал от холода. Навстречу им попался штейгер Мохов, ехавший верхом. Дедушка Елизар остановился и долго смотрел ему вслед. Вот напрасно человек гоняет лошадь. Невелик барин, мог бы по промыслам и пешком пройти. Небось, сапоги со скрипом жалеет. У старика опять мелькнула заветная мысль о второй лошади.

В конторе была одна «солдатка». Федор Николаич ушел посмотреть машину, у которой что-то испортилось.

— Надумал, дедушка? — спросила Евпраксия Никандровна.

— Я-то не надумал, а так уж, видно, судьба... Жаль тоже мальчонку, как он мокнет под дождем. Мало̀ еще место...

— Вот и отлично. А как глаз? Ух, какой здоровый синяк!.. Хочешь у нас жить, Кирюшка?

— Не знаю...

— Потом все узнает, — ответил за него старик. — Глупо еще...

— Он будет жить в одной каморке с Минычем, т. е. спать, а днем — у нас. Дело найдется...

— Уж как знаете, сударыня. Чуть што, так вы его дерите...

«Солдатка» только улыбнулась.

— Зачем же драть, дедушка? Человек не скотина, да и скотину нехорошо бить.

Кирюшка стоял у крыльца и не понимал, что происходит.

— Ах, он совсем мокрый! — ужаснулась «солдатка».

---

[1] Оболокайся — одевайся.

Она позвала кухарку Спиридоновну и велела ей переодеть мальчика в старую рубашку Федора Николаича, в его сапоги и пиджак. Кирюшке все было не в пору, и он вышел на крыльцо очень сконфуженный.

— Ничего, это пока... — объясняла «солдатка», улыбаясь. — Хоть все и не впору, а все-таки лучше мокрого.

Потом она вынесла стаканчик водки и подала дедушке Елизару. Старик покачал головой, но выпил с удовольствием. Он уже третий день ходил и спал весь мокрый. Водка подействовала на старика, и он присел на лесенку и разговорился.

— Плохая у вас платина идет, дедушка? — спрашивала «солдатка».

— Не то штобы совсем плохая, а только, значит, сила не берет...

Дедушка заговорил о второй лошади с таким увлечением, как говорят только о самом дорогом человеке. Евпраксия Никандровна слушала его внимательно и только удивлялась, от каких пустяков иногда зависит благосостояние целой семьи.

— Да, ведь, лошадь стоит всего рублей тридцать? — проговорила она.

— И за двадцать можно купить. Вот только нет их... Маемся всей семьей, а обработать лошадь не можем. Только-только тянемся из-за хлеба на воду...

— Вон у других идет хорошая платина.

— Это уже кому бог счастья пошлет. Все от бога...

Пришел с машины Федор Николаич. Он тоже промок и посмеялся над Кирюшкой.

— Оставьте его, — говорила «солдатка». — Он смущается. Мы завтра же со Спиридоновной сошьем ему рубаху.

Дедушка еще раз рассказал Федору Николаичу о второй лошади и все качал головой.

— Да, действительно, с двумя лошадьми работа куда спорее, — согласился Федор Николаич, шагая по крыльцу, как журавль.

Возвращаясь в свою землянку, дедушка Елизар все время встряхивал головой и бормотал что-то себе под нос. Ему навстречу опять попался ехавший верхом Мохов. Старик опять остановился и начал думать вслух:

— Хороша лошадь у Мохова, а только ни к чему... В самый раз ему только пешком ходить.

Дома старик объяснил Дарье, что определил Кирюшку «на службу». Дарья заплакала.

— Вот ты и сообрази с бабами, — рассердился дедушка Елизар. — Дома-то с баушкой поедом меня ели, а как сделал по-ихнему, — сейчас реветь...

VIII

Всю первую неделю своей жизни в конторе Кирюшка находился точно в тумане, потому что ничего не мог понять. Это был совершенно другой мир, где все было по-своему, и даже слова имели другое значение. Например, «солдатка» читает какую-нибудь книжку или что-то пишет, а потом потянется и усталым голосом проговорит:

— Ух, как я заработалась сегодня, Федя...

Сначала Кирюшка думал, что она шутит, а потом увидел, что нет. Даже охнет другой раз «солдатка» от своей «работы», а Кирюшке смешно. Какая же это работа, в самом деле? Вот ежели бы «солдатку» к вашгерду поставить со скребком или заставить пески возить в таратайке целый день, — вот это работа. Потом удивляла Кирюшку господская еда: — и чай каждый день пьют, а сахар валят в стаканы целыми кусками, и белый хлеб всегда на столе, и за обедом всегда говядина и яйца. Кирюшка понял, что Федор Николаич страшно богат, богаче всех на прииске и в Висиме, и просто не знает, куда девать деньги. Ведь, этак совсем можно проесться в одну неделю... Кирюшка невольно припоминал, как мать усчитывала каждую корочку хлеба и каждую ложку варева, как дедушка Елизар забирал в долг харчи и тоже рассчитывал каждый грош, а тут — «ешь — не хочу». Кирюшка даже спросил Миныча о несметных богатствах смотрителя.

— Какое богатство? — удивился Миныч и даже рассердился. — Такие же богачи, как и мы с тобой. Ничего у них нет... На жалованье живут и тоже свои долги есть.

Очевидно, Миныч хитрил и скрывал от Кирюшки, потому что одного жалованья в месяц Федор Николаич получал семьдесят рублей, а на эти деньги дедушка Елизар купил бы четырех лошадей. Какое же еще богатство? Ясно, что Миныч притворяется, — может быть, не хочет сказать правды. Вторую неразрешимую загадку для Кирюшки составляло то, что Федор Николаич такой худой. По ихней господской еде нужно бы быть толстым, как бочка, а он — в чем душа держится. Кирюшка первую неделю накинулся на господскую еду с таким азартом, что кухарка Спиридоновна постоянно ворчала:

— И во што́ только ест, пострел?! Большому мужику столько не съесть, а Федору Николаичу и в три дня не одолеть...

— Пусть отъедается, — успокаивал ее Миныч. — Потом сам отвалится... Это он с голодухи напал.

«Солдатка», напротив, даже любовалась, когда Кирюшка ел. Вот это настоящий аппетит, как и следует быть здоровому ребенку. Глядя на Кирюшку, она сама хотела есть.

Но больше всего удивлялся Кирюшка господам, как они жили между собой. Начать с того, что «солдатка» совсем не боялась мужа. Даже вот нисколько не боялась, а выходило так, что как-будто даже сам Федор Николаич побаивался жены. Не то что побаивался, а как-то так, уступал во всем. За вечерним чаем они часто спорили, и Федор Николаич горячился и начинал кричать тонким голосом. И спорили всегда об одном и том же — о какой-то «женщине».

— Женщина угнетена, женщина порабощена, — говорила «солдатка». — Да, она в полном рабстве...

— Ты преувеличиваешь, Фрося, — спорил Федор Николаич. — Конечно, ей нелегко, это правда, но рабства еще нет...

Недоумевавший Кирюшка обратился за разъяснением к штейгеру Мохову, который должен был знать решительно все, потому что не только в Тагиле, но даже в городе живал. Мохов долго соображал и, наконец, проговорил:

— Должно так полагать, што эта самая женщина, т. е. баба, где-нибудь в Тагиле живет. Барыня-то добрая, вот и жалеет... Кто-нибудь ее, т.-е. эту самую бабу, обидел, а может, и сама виновата.

Когда Евпраксия Никандровна случайно узнала об этом объяснении Мохова, то хохотала до слез. Федор Николаич тоже смеялся до кашля. Кирюшка окончательно ничего не понимал.

— Ах, какие вы глупые! — смеялась «солдатка» — Хочешь учиться грамоте, Кирюшка?

— Боюсь... — откровенно признался Кирюшка.

— Чего же ты боишься, глупый мальчик?

— А драть будешь...

— Кто это тебе сказал? Опять Мохов?

— Он... Его тоже драли... целый год... Он у раскольничьей мастерицы два года учился.

— Скажи ему, чтобы он не болтал глупостей. Я буду заниматься с тобой сама. Понимаешь?

Все-таки Кирюшка страшно боялся грамоты и даже хотел убежать к матери. А тут еще Мохов поддразнивал:

— Это барыня только так говорит, а когда дело дойдет до настоящего, так небо с овчинку покажется. Меня мастерица-то вот как полировала...

— Перестань ты молоть! — вступился Миныч. — Только парнишку напрасно сомущаешь... Мало тебя, Мохов, мастерица-то лупцовала.

Грамота началась как-то незаметно, и Кирюшка убедился в несколько уроков, что никакой порки не будет, а даже, напротив, — «солдатка» хвалила его и по праздникам давала пряников. Домой в Висим Кирюшка уже не ездил вместе с семьей, да ему и не хотелось. В конторе было веселее. Ему хотелось только показать дома новые сапоги, пиджак и фуражку, которым все завидовали, а больше всех — Тимка.

— Ты теперь в том роде, как смотрителевой курицы племянник, — дразнил Тимка. — А все я тебя произвел... Говори мне спасибо, што тогда глаз починил. Надо бы оба за-раз...

Кирюшка жил в крошечной каморке вместе с Минычем. У него была даже своя кровать, устроенная из досок. Больше всего Кирюшку удивила подушка, которую ему дала Евпраксия Никандровна. Ему не случалось дома спать на подушке. Работа в конторе была самая легкая. Кирюшка чистил платье, сапоги Федора Николаича, ботинки «солдатки», подавал кушанье за обедом, убирал посуду, а главным образом, состоял на побегушках. Собственно говоря, работы никакой не было, и Кирюшка по целым дням слонялся без всякого дела. Да и у других работы было немного, кроме субботы. Мохов спал по три раза в день, спал до того, что у него «пухли глаза», как говорила Спиридоновна. Миныч, по крайней мере, любил почитать, особенно «ведомости», как он называл газету. Обыкновенно, старик читал вслух, и сначала Кирюшка решительно ничего не мог понять, как ни старался слушать.

— Ну-ка, почитаем, что на белом свете делается, — говорил Миныч, бережно развертывая большой газетный лист. — Тоже живые люди везде живут...

Подсаживался послушать иногда Мохов и заводил непременно спор. Больше всего Мохов интересовался почему-то турками.

— Ну-ка, поищи, как турки живут? — просил он Миныча. — Хоть бы одного живого турка убить. Самые они нехристи...

— Такие же люди, как и мы, — говорил Миныч. — Только вера другая... Вон наши татары — тоже мусульмане, т.-е. Магометова закона. За что же их убивать?

— А вот за это самое... Ежели бы я был царь, так всех бы их в православный закон поворотил. Вызвал турку и сейчас ему: «принимай наш закон, свиное ухо, а то голова прочь». Вот тебе и весь разговор.

Кирюшка был на стороне Мохова и тоже начинал ненавидеть турок, главным образом потому, что они турки. Потом он ненавидел «англичанку», эту уже без всякого основания. А там оставались еще немцы, французы и жиды, но с ними Кирюшка уже окончательно не знал, что делать. Вообще, его познания увеличивались с каждым днем. Прибирая комнату, Кирюшка с особенным вниманием останавливался перед этажеркой с книгами. Неужели Федор Николаич выучил их все наизусть, как уверял Миныч? Теперь Кирюшке было понятно, отчего он сам такой худой. Вон Мохов едва половину Псалтыря выучил в два года, а тут пудов пять книг будет.

К «своим» Кирюшка бегал ранним утром, пока в конторе еще спали. Дарья только качала головой, когда он рассказывал о своем житье. Дедушка Елизар хмурился и молчал.

— Што же им, — известно, господа, — говорила Дарья. — Самая ихняя легкая жисть... Не то што как мы вон колотимся.

— В чужом рту кусок велик, — замечал дедушка, не любивший, когда завидовали кому-нибудь. — Кому что̀ бог дал, — тот тем и владей.

Платина у Ковальчуков попрежнему шла так себе, и семья продолжала перебиваться кое-как. Дарья как ни рассчитывала, а к концу недели едва могла свести концы с концами. Другие старатели завидовали им.

— Устроили парнишку, — лучше не надо. И сапоги новые, и шапка, и одежонка. Прямо, счастье этим Ковальчукам.

IX

В начале августа начались холодные горные дожди, и Кирюшка только теперь в полную меру оценил свое привилегированное положение. Все приисковые целыми днями мокли на дожде. По вечерам не слышно было песен, веселого говора и смеха. Все ходили сумрачные и недовольные. Тимка гонял на своей таратайке с каким-то ожесточением, вымещая на своей лошаденке скверное расположение духа. У Ковальчуков тоже было не весело. Дедушка Елизар жаловался на

спину и на ноги, которые были застужены давно. Особенно доставалось бабам, у которых мокрые сарафаны прилипали к ногам. Они походили на мокрых куриц. Платина у Ковальчуков попрежнему шла плохо.

— Брошу я приисковую работу, — говорил дедушка Елизар. — Будет, было всласть пороблено.

Другие мужики угрюмо молчали. Что было тут говорить, когда приходилось целые дни колеть на холоде? Главная беда, что и обсушиться было негде, и ложились все спать мокрые. Мать Кирюшки попробовала, было, принести в контору к Кирюшке посушить мокрые сарафаны, но кухарка Спиридоновна ее прогнала.

— Тоже, от ума баба придумала. Этак-то весь прииск будет обсушивать. Говорила бы спасибо, что Кирюшку воспитываем, а она сарафаны мокрые волокет.

Только один человек не боялся осеннего ненастья, — это охотник Емелька. Он попрежнему бродил по лесу, ночевал по лесным избушкам и промышлял охотой. Аккуратно через два дня он приходил в контору на Авроринский и приносил разную «дичину» — рябчиков, глухарей, тетерок. Евпраксия Никандровна очень любила дичь и непременно покупала что-нибудь, чтобы Емелька не обиделся и не перестал ходить.

— Житье тебе, Емелька, — завидовал Мохов. — Как придешь, так копеек тридцать и получишь, а то и всю полтину сцапаешь.

— А порох-то да дробь, поди, денег стоят? — точно оправдывался в своем грабительстве Емелька. — Тоже мокнешь-мокнешь день-то деньской в лесу, ходишь-ходишь, как грешная душа.

В конторе Емелька обсушивался в каморке у Миныча. Ночевать он оставался редко, потому что в тепле как раз еще проспишь, а птица не ждет. Надо ее ранним утром добывать, когда она кормится по ягодникам. У Емельки на все была своя примета, и кухарка Спиридоновна считала его немножко колдуном.

— Конечно, колдун, — спорила она. — Живет один в лесу, как глухарь. Да я бы померла со страху, в одну ночь... Мало ли што поблазнит ночным делом.

Емелька молчал. Он презирал всех баб на свете и не вступал с ними в разговор, не то что спорить. Миныч оживлялся, когда приходил Емелька, и они потихоньку вдвоем пропивали часть вырученных за дичь денег. Миныч, когда выпивал, делался необыкновенно добродуш-

ным, усиленно моргал слезившимися глазками, отчаянно набивал нос табаком и без конца что-нибудь рассказывал. Емелька тоже ожесточенно нюхал табак и внимательно слушал.

— И куда только эта самая платина идет, Миныч? — удивлялся иногда Емелька. — Вон сколько места ископано, а она все уходит куда-то. Кому-то, значит, надобно. Деньги, сказывают, из нее делают.

— Прежде делали, а нынче не делают, — объяснял Миныч. — А идет наша платина заграницу, к агличанам. Они из нее разное такое делают...

— Что разное-то?

— А кто их знает... Она строгая, значит, платина, никакой кислоты не боится, окромя царской водки[1], ну, значит, она и подходит им, агличанам.

— Федор Николаич сказывал как-то, что агличане даже очень уважают нашу платину, потому как на всем свете ее больше нигде нет. В Америке малость добывают, так, сущие пустяки... Еще сказывал Федор Николаич, что эта самая платина будет дороже золота.

— Ну, уж это он врет, — не верил Емелька. — Как же это можно, чтобы с золотом приравнять? За золото-то по четыре рубля золотник платят, а за платину — всего тридцать копеек. Нет, так, пустое господа болтают... Ну кому нужна платина? Вот перестанут агличане покупать, и будет всем крышка.

— Тогда немцы будут покупать.

Емельку сильно разбирало сомнение относительно будущности платины. Он продолжал думать о покосе Бородина, где лежали, по его мнению, несметные сокровища. Неудача переговоров у дьячка Матвеича нисколько не охладила уверенности Емельки. Он каждую неделю приходил посмотреть заветное местечко, точно хороший хозяин, который осматривает свои владения, качал головой, ругал глупого дьячка, который ему не верил и, вообще, волновался.

Кухарка Спиридоновна давно подозревала, что Емелька неспроста шляется в контору, а дичину приносит только «для отвода глаз». Будто рябчиков принес, а у самого не рябчики на уме. Эти подозрения скоро оправдались. Раз в ненастный день Емелька остался ночевать в конторе. Миныч раздобыл где-то бутылку водки, и друзья благодушествовали, как и следует истинным друзьям. Выпив, Емелька рассказал Минычу о бородинском покосе.

---

[1] Царская водка — смесь из соляной и азотной кислот

— Знаю, как же, — согласился Миныч. — То-есть покос-то знаю, но что касается платины... Ужо надо Мохова спросить.

Был приглашен Мохов. Он с удовольствием допил остатки водки, крякнул, вытер рукой жесткие, рыжие усы и проговорил:

— Нет этого приятнее, как ежели хорошая компания...

Емелька угрюмо молчал. Миныч принялся говорить за него и понес страшную околесную. Почему-то он сначала заговорил о турках, которые ничего не понимают, потом похвалил американцев (Мохов уверял, что американцы и цыгане — одно и то же), потом вспомнил ни к селу ни к городу своего покойного отца (Миныч при этом счел долгом прослезиться) и потом уже передал предположение Емельки о богатой платине. Мохов выслушал все совершенно равнодушно, а потом, совершенно неожиданно обиделся.

— Что же, мы-то, по-твоему, круглые дураки? — напал он на молчавшего Емельку. — Да? Ничего не понимаем? Мы-то в трех соснах заблудились, а ты вот всех умнее и оказал себя... Ах, ты, чучело гороховое!.. Недаром и поговорка такая есть: «мели Емеля, твоя неделя». Тоже, учить поумнее себя вздумал, а самому трем свиньям корму не разделить.

— Да ты что ругаешься-то?! — тоже неожиданно озлился Емелька.— Тебе сурьезное дело говорят, и ты говори сурьезное дело.

— Я дело и говорю! — уже кричал Мохов, размахивая руками. — Кажется, слава богу, можем хорошо понимать. Какой ты есть человек, Емелька, ежели разобрать? Так, мусор какой-то. Вот одежонки не можешь выправить, а еще берешься учить других.

— Одежа у меня, точно, немного тово... — согласился Емелька, оглядывая свои лохмотья. — Ужо как-нибудь заведу. А все-таки это не касаемо платины...

Миныч нерешительно начал поддерживать Емельку, и это заступничество окончательно взорвало Мохова. Он вскочил и, размахивая кулаками, начал наступать на Емельку:

— Значит, по-твоему, старый чорт, я ничего нестоящий штейгер? Да? Ну, говори? Значит, я ничего не понимаю, по-вашему? Только даром хлеб ем? Да я вас обоих в один узел завяжу и в окошко выброшу...

Мохов так разбушевался, что Емелька действительно выскочил без шапки в окошко.

— Я и ружье твое изломаю! — кричал Мохов. — Благодари бога, что жив ушел... Учить Мохова!.. Ах, вы, строкулисты!..

На шум прибежал Федор Николаич и решительно ничего не мог понять, в чем дело. Все говорили разом, перебивая друг друга, и теперь больше всех горячился Миныч. Он дошел до того, что схватил щепотку нюхательного табаку и бросил его в глаза Мохову. Чуть не произошла драка, и только Федор Николаич кое-как рознял споривших. Он тоже взволновался и раскашлялся до слез.

— Какая платина? Где платина? — спрашивал он.

— Он расстраивает народ и только меня срамит! — объяснял Мохов, тяжело дыша. — Кажется, я служу вот как... Комар носу не подточит. Вот как стараюсь...

Когда дело, наконец, разъяснилось, Федор Николаич только развел руками, точно все трое с ума сошли.

— Нет, вы нас рассудите, Федор Николаич, — приставал Миныч, сжимая тощие кулачки. — Так невозможно... Ежели бы не вы, так Мохов убил бы нас.

— Что же я рассужу? — недоумевал Федор Николаич. — Надо сделать пробу, тогда и будет видно.

— Если пошлете Мохова, так ничего не увидите, — мрачно объяснял Емелька. — Мне-то что же... Не моя платина. А только она есть... Другие, по крайней мере, спасибо скажут.

— На коленках тебя благодарить будут, — язвил Мохов. — Нашелся благодетель. Значит, по-твоему и Федор Николаич тоже ничего не понимает?

— Перестаньте, Мохов, как вам не стыдно! — уговаривал Федор Николаич расходившегося штейгера. — Никто и не думал этого говорить...

Мохов опять вспылил. Он бросил свою шапку на пол и проговорил:

— Обидели вы меня, Федор Николаич, за мою службу. Вот как-то мне к сердцу пришлось. Да... Кажется, обругайте вы меня, каким угодно словом, а только не заступайтесь за Емельку.

— Я и не думал ни за кого заступаться... Вы, Мохов, кажется, с ума сошли.

Мохов плюнул и убежал из комнаты. Федору Николаичу сделалось смешно, и он тоже ушел.

За ужином Федор Николаич рассказывал жене о случившемся и смеялся до слез.

— Это очень характерно, — объяснял он. — У нас все помешаны на богатстве, т.-е. на быстром обогащении. И Емелька тоже... Интереснее всего то, что он в данном случае хлопочет совсем не о себе.

— Он какой-то особенный, — заметила Евпраксия Никандровна.

— А Мохов был великолепен! Еще бы немного и он готов был, кажется, и меня поколотить. Безнадежно глупый мужчина. Представь себе, он страшно и серьезно обиделся. Хе-хе... Нет, это была удивительная сцена.

— А ты как думаешь об Емельке? — спросила Евпраксия Никандровна прислуживавшего Кирюшку.

— Что же тут думать? — бойко ответил Кирюшка. — Всем известно, што он колдун... Недаром в лесу живет постоянно. Он также хотел дедушку Елизара подманить...

— Ну, а что же дедушка?

— Он только посмеялся.

— Все-таки нужно будет попробовать, — решил Федор Николаич, — проверить Емельку. Может быть, что-нибудь и окажется...

Федор Николаич вместе с другими плохо верил в висимскую платину. Было время, да прошло, а теперь остатки подбирают. Места кругом все хорошо известны, каждый вершок земли, и старатели нашли бы давно, если-бы что-нибудь было. Народ опытный и знают свое дело отлично.

— А если Емелька прав? — спрашивала Евпраксия Никандровна.

— Все равно, он для себя ничего не получит, потому что сам работать на прииске никогда не будет. Не такой человек...

Емелька больше не показывался в конторе. Старик, видимо, обиделся, и Евпраксия Никандровна осталась без дичи.

— Эка невидаль, рябчики, — ворчал Мохов. — Да я сколько угодно их представлю. Сделай милость...

Он, действительно, по два утра уходил на Момыниху и приносил оттуда рябчиков, а потом заленился и бросил.

Федор Николаич отправился делать пробу сам. Покос Дорони Бородина ничего особенного собой не представлял. Просто зеленый луг на правом берегу Мартьяны, и больше ничего. Кое-где были уже сделаны кем-то пробные ямы (шурфы) и теперь стояли наполненные водой. Примета плохая. Но Федор Николаич велел сделать пять новых шурфов. Работали целый день и ничего особенного не нашли. Платина на песках была обыкновенного содержания, как на Авроринском и на Сухом.

— Во сне Емелька видел свою платину, — заметил Мохов. — Умнее всех хотел себя оказать. Просто посмеяться над нами хотел.

Кирюшка тоже присутствовал при этой пробе и согласен был с Моховым.

X

Осень для Ковальчуков закончилась очень грустно. Расхворалась Дарья, мать Кирюшки. Она простудила ноги в холодной осенней воде. Ее увезли домой без памяти. На прииске теперь не с кем было управляться, и артель расстроилась. Некоторое время оставался в землянке один дедушка Елизар. Он решил переменить делянку и подыскивал новое место. В этом заключалось спасение всей семьи, а как они перебьются зиму, — дедушка Елизар боялся и подумать. Мужики будут как-нибудь околачиваться на поденной работе — на фабрике, в извозе или в курене, где рубят дрова для фабрики и жгут уголья. Бабам зимой уж некуда деваться. Сиди дома да посвистывай в кулак.

— Ох, как только и перебьемся зиму! — горевал старик. — А я еще о второй лошади думал, на Кирюшкино счастье... Вот тебе и вторая лошадь.

Теперь дедушка Елизар каждый день приходил в контору к Кирюшке и любил посидеть темный осенний вечер в тепле у Миныча. Старик не жаловался никому и, вообще, не любил болтать о своих домашних делах. Питался он одним черным хлебом, запивая ключевой водой, да и хлеб был на исходе. Один Кирюшка знал, как перебивается старик и по-детски его жалел, но тоже молчал. Только раз он не утерпел, когда Евпраксия Никандровна стала расспрашивать, зачем остался старик на прииске, и как он живет в землянке один.

— Дома-то нечего делать, вот и живет, — объяснил Кирюшка.

— Что же он ест? Кто ему готовит?

Кирюшка даже засмеялся. «Солдатка» как есть ничего не понимала.

— Чего готовить-то, барыня? Слава богу, ржаной хлеб есть. Еще дён на пять хватит... Главное, чтобы место получше обыскать к весне.

Кирюшка говорил тоном большого человека, а Евпраксии Никандровне показалось, что он относится к голодавшему старику совершенно бессердечно. Она не могла себе представить, как можно голодать, да еще старому человеку, которому нужны и покой, и уход, и стариковский уют. А Кирюшка понимал все отлично, потому что сам раньше частенько голодал.

— Отчего ты раньше ничего не сказал? — укоряла его «солдатка». — У нас от обеда и от завтрака много остается...

Кирюшка молчал. Все остатки доедал обыкновенно Мохов, отличавшийся большой прожорливостью. Да и дедушка не такой, чтобы чужими объедками пользоваться. «Солдатка» не оставила этого дела, переговорила с мужем и потом позвала дедушку Елизара.

— Вот что, старичок... — заговорила она, немного стесняясь. — У нас живет твой внучек уж два месяца. Ему следует получить жалованье...

— Какое уж тут жалованье... Прибрали мальчишку, и за то спасибо. Сыт, одет, сидит в тепле...

— Нет, серьезно. Мы ему будем платить по два рубля в месяц. Значит, тебе следует получить за два месяца четыре рубля.

Дедушка Елизар только почесал в затылке. Для него четыре рубля сейчас составляли целый капитал. Пожалуй, на эти деньги и место можно обыскать, ежели у барыни рука легкая. Тяжело все-таки было старику брать эти деньги, точно он брал что-то чужое.

— На легкую руку возьму, — объяснил он. — На счастье, значит...

— У меня рука легкая, — шутила Евпраксия Никандровна, передавая деньги. — Надо было раньше отдать, да все как-то забывалось. К рождеству твой Кирюша будет читать и писать, а потом увидим. Он славный мальчуган...

Одновременно с этим Спиридоновне был отдан самый строгий приказ, когда придет дедушка Елизар, кормить его.

— Тоже придумают, — ворчала кухарка. — Разе всех накормишь? Раньше Емелька шатался, а теперь старик повадился. Мало ли на прииске народу наберется...

Получив деньги, дедушка Елизар точно ожил. Как все промысловые люди, он был суеверен, а тут свалились несчитанные деньги. Уж если будет счастье, так именно на такие несчитанные деньги. Одно счастье, как известно, не приходит. Делать разведки одному очень трудно, но как-то подошел Емелька и поселился в балагане дедушки Елизара. Старик был рад, что теперь он не один. Все же живой человек. Есть с кем слово перемолвить. У Емельки наступила глухая охотничья пора. Приходилось ждать заморозков.

— Поживи пока у меня, а дома тебе делать все равно нечего, — уговаривал его дедушка Елизар. — Я вот новое местечко обыскиваю, а у тебя может, и рука легкая...

— У меня-то? Легче и не бывает...

Удивительный был человек этот Емелька. Совсем бы хороший мужик, если бы не отбился от работы. У чужих еще будет работать, а

для себя пальца не разогнет. Теперь он с раннего утра отправлялся с дедушкой Елизаром в поиски и работал целые дни, как самый настоящий мужик. Они вдвоем выкопали в день шурфов до десяти.

— Ах, Емельян, Емельян, как бы тебе жить-то надо! — удивлялся и жалел его дедушка Елизар. — Ведь, золотые у тебя руки... Молодому впору с твое-то работать.

— А не желаю... — упрямо отвечал Емелька.

О покосе Дорони Бородина старики не говорили ни одного слова. Емелька не хотел ничего говорить, когда другие своего счастья не хотят понимать, а дедушка Елизар знал, что Федор Николаич ездил туда на пробу и ничего не нашел.

— Не иначе, что платина подбилась к самой Момынихе, — повторял дедушка Елизар. — Значит, тут ее и искать.

Шурфовка производилась очень простым способом. Выкапывались в земле ямы в форме могилы. Сначала под дерном попадался обыкновенно речной хрящ[1], потом начиналась серая глина, а под ней уже шел песчаный слой, содержавший в себе платину. Пробу делали в большом, железном ковше, при чем происходило то же, что при работе на вашгерде: крупная галька сбрасывалась, глина отмучивалась водой, на дне ковша оставался черный песочек, «шлихи», в котором и задерживались зерна платины. На такой ковш для хорошей пробы достаточно было двух долей драгоценного металла. В одном месте, когда дедушка Елизар делал пробу, получилось несколько долей. У старика даже руки затряслись, и он выплеснул пробу в воду. Сделал он так не из боязни, что Емелька что-нибудь разболтает раньше времени, а просто потому, чтобы не ославить места. Даже про себя он старался не думать о своей находке, точно она могла спрятаться в землю от одной мысли.

Через день дедушка Елизар сказал:

Ну, Емельян, довольно нам с тобой шататься. Пора домой. И то мы зажились на прииске до которой поры. Почитай, никого и не осталось из старателей.

Емелька не спорил и отправился домой вместе с дедушкой Елизаром. На прииске оставалось работать артелей десять, которым, все равно, деваться было некуда. Богатые уехали пораньше, а беднота искала своего счастья до самых заморозков, когда вода начинала застывать

---

[1] Речной хрящ — галька.

на вашгердах. Единственным хозяином всех промыслов оставался Мохов, потому что зимой работали только одни «хозяйские работы», т.-е. на машине промывка шла небольшая, а вскрывали главным образом шурфы, т.-е. снимали верхний слой пустой породы, прикрывавший платину, содержащий пласт песков. Промысла точно засыпали на всю зиму, чтобы проснуться с новыми силами, когда заиграют полой водой горные речки и речушки.

Дедушка Елизар, вернувшись домой, никому и ничего не сказал. Он объяснил коротко, что выбрал новую делянку под Момынихой.

— Ужо попробуем, что бог даст.

В Висиме уже знали, что он искал платину вместе с Емелькой, и по этому случаю не мало было пересудов, разговоров и шуток. Особенно потешались хохлы:

— Два старых колдуна связались: как уж тут платине не быть. Нашептали себе делянку...

Дедушке Елизару было не до этих разговоров. Его мучила неотступная мысль о найденной платине. А если господь богатство послал? Будет, натерпелись нужды достаточно, а, ведь работали не хуже других. По ночам старик долго не мог заснуть и когда засыпал, то все делал пробу на платину. Иногда он просыпался, садился на своей постели и долго не мог притти в себя.

— Господи, помилуй... Что же это такое! Навождение...

Делалось даже страшно. Это уж неспроста день и ночь все платина грезится. Как раз «нечистый» помутит... А тут еще вторая лошадь все представляется. Дедушка Елизар видел ее как живую — гнедая, с зависистой гривой, длинная, с крепкими ногами. Эта уж послужит. Вот как работа пойдет, только успевай поворачиваться.

А дома, как на грех, дела шли скверно. Дарья хоть и поправилась после своей болезни, но все не могла войти в настоящую бабью силу и бродила по дому как отравленная муха. Потом приключилась беда с подростком Ефимом. Он поступил на фабрику поденщиком и работал под доменной печью. Там ему брызнуло горячим чугуном на ногу, и нога разболелась. Пришлось и Ефиму сидеть дома. Кормильцами семьи оставались всего двое — отец Кирюшки, Парфен, да зять Фрол. Большим подспорьем являлось теперь жалованье Кирюшки. Два рубля — деньги, т.-е. целых пять пудов ржаной муки. Смотришь, трое и прокормились. Вообще дела были тесные, и семья Ковальчуков еще никогда так не бедовала.

Дедушка Елизар рассказал о своей находке под великим секретом только одному торговцу Макару Яковличу, у которого забирал харчи.

— У вас у всех богатая платина, когда в долг берете, — не доверял добродушный Макар Яковлич. — А как дело дойдет до расчета, — платины как не бывало.

— Что ты, Макар Яковлич! — обижался дедушка Елизар. — Не стану я зря болтать. Не те мои года, да и не привык я к этому. Только бы вот до весны дотянуть. Увидишь сам...

— Не увидим, так услышим. Что же, дай бог. Семья у тебя непьющая, работники растут. Как-нибудь справитесь...

— Все от бога Макар Яковлич. Кому уж какое счастье господь пошлет, так тому и быть.

Первого числа каждого месяца дедушка Елизар отправлялся на Авроринский за получением кирюшкиного жалованья. Он ходил пешком. На лошади работал Парфен, и ее нельзя было брать.

— Ну, как дела, старик? — спрашивала каждый раз Евпраксия Никандровна, отсчитывая два рубля.

— Ничего, помаленьку, барыня. Перебиваемся... Вот только бы до весны дотянуть.

Спиридоновна уже без наказа знала, что должна накормить старика и больше не ворчала. За нее обижался Мохов. Он называл гостя дармоедом и глумился над ним.

— Не твое ем, — оправдывался дедушка Елизар. — Тебе-то какая печаль?

— Я терпеть не могу дармоедов, которые себя своей работой оправдать не могут. Этак все учнут объедать господ...

— Не ты ли дармоед-то, ежели разобрать?

Мохов придумал в отместку штуку. Как-то приехал в воскресенье в Висим и распустил в кабаке слух, что Ковальчуки нашли богатую платину и скрывают от всех. Слух был нелепый, поэтому, вероятно, за него все и ухватились с какой-то радостью. Дедушка Елизар даже испугался, когда его встретил на улице рыжий Белохвост и крикнул:

— Здравствуй, тысячник!..

— Какой тысячник? Что ты болтаешь, непутевая голова.

— А такой... Нашел платину и молчишь. Все, брат, знают...

Старик только развел руками. Неужели Макар Яковлич разболтал?

— Боишься, што делянку рядом с тобой возьму? — не унимался Белохвост, размахивая руками. — Эх, нехорошо, дедушка.

— Кто говорит-то, что я платину нашел?

— А Мохов сейчас в кабаке рассказывал, как вы с Емелькой нашептали себе эту самую платину. Бесово, видно, дешево, колдуны проклятые...

Сначала дедушке Елизару очень было обидно, что его секрет открылся, а потом он успокоился. Поболтают и перестанут. Когда к нему приставали где-нибудь на базаре, он только отшучивался:

— Обыскал, милые... Верно. Так и лежит платина, — хоть голыми руками ее обирай.

— Возьми, дедушка, в приказчики? — галдели молодые парни.

— И то возьму. Жалованье будешь получать четыре недели в месяц.

XI

Наступила зима. В горах выпадал в некоторых местах саженный снег. Лес стоял, точно в дорогой, белой шубе. Все приисковые постройки потонули в снегу. Не видно было ни приисковых ям, ни отвалов, ни прудков, ни канав, только продолжали работать около машины. Зима в лесу была совсем не то, что в селеньи, и Кирюшка удивлялся, откуда берется столько снега. С остальным миром Авроринский прииск соединялся одной узенькой дорожкой, по которой можно было проехать только гусем. да и то не всегда. Все кругом точно замерло, похороненное под белоснежным саваном.

В приисковой конторе тоже замерла всякая жизнь. Федор Николаич все читал и страшно курил. Мохов спал по целым дням и просыпался только для еды. Миныч целые дни просиживал у железной печки, которую накаливал до-красна. Он страшно любил тепло и спал под шубой, обливаясь пòтом.

— Ты у нас, как комар, Миныч, — шутил Мохов. — Смотри, как раз застынет комариное-то сало...

Только один человек не боялся ни мороза, ни горной вьюги, ни непогоды — это охотник Емелька. Он теперь безвыходно жил где-то в горах, выслеживая оленей, диких коз и лисиц. Раз он пришел на лыжах и притащил убитую молодую козу. Ему заплатили за нее целых два рубля. Евпраксия Никандровна долго любовалась убитым животным и с сожалением проговорила:

— Какая она хорошенькая, эта козочка. Тебе ее не жаль было убивать, Емельян?

— Чего ее жалеть-то? — удивился Емелька. — На то она и коза...

Вместе с наступлением зимы в жизни Кирюшки произошло величайшее событие: ему купили из дубленой овчины полушубок, новую меховую шапку и новые валенки. Такой роскоши он еще не видал. Решительно все новое. Полушубок ему так понравился, что он не желал его снимать даже в комнате, как его ни уговаривала «солдатка».

— Ведь, жарко в полушубке?

— Ничего. Ведь, он новый...

Раньше Кирюшка пользовался только обносками после больших мужиков и Ефима, а тут все впору, точно портной на заказ шил. Покупать обновы ездил в Висим «штегерь» Мохов, и из этого потом вышла целая история. Кухарка Спиридоновна осмотрела покупки с особенным вниманием и только покачала головой.

— Как раз на полштоф омманул, змей, — решила она. — Вот-то бессовестный человек...

«Солдатка» считала Мохова самым глупым человеком в свете, но была уверена, что он не способен на обман. Обиделась уже Спиридоновна, навела справки в Висиме, где и что покупал Мохов, и доказала свою правоту. Евпраксию Никандровну очень обидело такое откровенное коварство Мохова, и она сказала ему:

— Я не думала, что вы такой, Мохов. Как вам не стыдно обманывать...

Мохов по-глупости не только не раскаялся, а только нагрубил «солдатке» и пообещал переломать Спиридоновне все ребра.

— Нужно его убрать, — говорила мужу «солдатка». — Он на все способен, хотя и глуп. В одно прекрасное утро он нас всех зарежет.

Федор Николаич на этот раз не мог согласиться с женой и даже стал защищать Мохова.

— Фрося, все они такие. Возьмем другого штейгера, — тот будет еще хуже.

— Почему ты думаешь, что хуже.

— Да так. Промысловый народ испорченный.

У Федора Николаича была слабость, — он терпеть не мог менять людей. По его мнению, все люди одинаковы, а только не следует их вводить в соблазн. Одним словом, нужно было самим съездить в Висим и купить все для Кирюшки.

— Тогда мы переплатили бы не двугривенный, а целый рубль, — объяснял он жене. Он, наверно, торговался до седьмого пота, а мы бы не сумели этого сделать.

— Одним словом, мы должны благодарить Мохова, что он напился за наш счет? — возмущалась «солдатка». — Я ему, как хочешь, ни в чем больше не верю. Да, не верю...

Если бы Мохов знал, какие последствия проистекут из его коварства, он купил бы все Кирюшке на собственный счет, но Мохов был счастливо глуп и ничего не подозревал.

Непосредственным следствием обмундировки Кирюшки было то, что пред Рождеством он попал в Тагил. «Солдатка» не хотела ехать одна. Федор Николаич прихварывал, Мохова она терпеть не могла, — оставалось взять Кирюшку.

— Все-таки мужчина, — объясняла она. — И ехать веселее, и в Тагиле мне поможет. Надо сделать покупки к праздникам, ездить по магазинам, — одним словом, мне одной неудобно.

Кирюшка был счастлив как никогда. Тагил представлялся ему чем-то волшебным и сказочным. Мохов рассказывал, что там и церкви каменнные, и дома каменные, и лавки каменные, а на базаре нет только птичьего молока.

От прииска до Тагила было около сорока верст. Двадцать верст до Черноисточинского завода и двадцать — от него. Дорога все время шла горами и лесом. Попадались навстречу углевозы с коробьями угля и много транспортных, перевозивших руду, чугун и железо. Маленькая кошовка летела по зимней укатанной дороге стрелой. Кирюшка сидел и молчал, подавленный ожиданием чего-то необыкновенного. Черноисточинский завод — попросту Черная, как называли его рабочие, — был значительно больше Висима. Кирюшку поразило, что здесь избы мыли снаружи, стирая с бревен заводскую копоть. Бабы-черновлянки оказывались чистоплотнее висимских хохлушек и тулянок.

В Тагил въезжали мимо громадного медного рудника. Кирюшку поразила особенно высокая железная труба, из которой валил густой дым. В самом селеньи, раскинувшемся по берегам заводского пруда и реки Тагила, обыкновенно избы стояли только на окраине, а в середине были все дома с железными крышами, с расписными ставнями и крашеными воротами.

— Тут все богатые мужики живут? — спрашивал Кирюшка, удивляясь тагильскому великолепию.

— Есть и богатые, и бедные, — объясняла «солдатка», которую забавляло удивление маленького приискового дикаря.

Изумление Кирюшки достигло своей высшей степени, когда кошовка начала от фабрики подниматься в гору, на которой перед зданием главной заводской конторы стоял памятник одному из владельцев Демидовых. Тут же и каменная церковь, а дальше — улица, где сплошь стояли каменные дома с магазинами в нижних этажах. Кошовка выехала на громадный базар, уставленный целыми рядами деревянных лавок, а потом свернула куда-то в улицу направо и остановилась у ворот каменного дома. Приисковые лошади, повидимому, знали этот дом и сами повернули к нему.

Наверху гостей встретил белокурый господин в простой кумачной рубашке и суконной поддевке. Это был старый знакомый Евпраксии Никандровны, приезжавший на Авроринский раза два. Его звали Александром Алексеевичем. Говорил он спокойно, никогда не горячился, и Кирюшка был рад, что встретился знакомый человек. Он начинал как-то трусить и чувствовал себя таким маленьким-маленьким и беззащитным, как цыпленок.

— Вот хорошо, что вы приехали, — говорил Александр Алексеевич.— У меня как-раз есть дело до вас. Может-быть, и мне придется к вам на Авроринский.

— Что же, мы будем рады. Веселее будет жить вместе.

Когда они пили чай, пришел еще господин, тоже в поддевке, с темной козлиной бородкой, высоким лбом и громадными, темными глазами. Звали его Сергеем Александровичем. Это был очень веселый барин, который всех смешил.

— А это что за мужичище с вами? — спрашивал он про Кирюшку.

— Он живет у нас, — объясняла «солдатка». — Будущий старатель. Я его учу грамоте. Мальчуган смышленый...

— Испортите вы его, Евпраксия Никандровна. Отстанет он от своих мужиков и сделается каким-нибудь писарем.

После чая «солдатка» отправилась делать покупки к празднику. Ее сопровождал Кирюшка. Она долго ходила из магазина в магазин, и Кирюшке казалось, что здесь собраны были сокровища всего мира. У мальчика просто разбегались глаза при виде разного галантерейного товара. Кирюшку больше всего занимал вопрос, кто будет покупать все эти чудеса? Где эти безумно богатые люди? Ну, ситцы и разную посуду еще раскупят, у кого идет богатая платина, а куда девать ос-

тальное? Кирюшка как ни прикидывал в уме на разные лады, но ничего не выходило. Для него делалось ясным только одно, именно, что есть люди богаче, чем висимские Канусики, Шкарабуры, Ермоленки, даже богаче, чем Федор Николаич. Его маленькое сердце невольно сжалось при мысли о своей висимской бедности, о том, как мать рассчитывала каждый кусок ржаного хлеба, как дедушка Елизар забирал у Макара Яковлича харчи в долг и т. д.

— Ну что, тебе нравится Тагил? — спрашивала «солдатка».

— Очень уж по-богатому живут здесь... — ответил Кирюшка.

Под конец ему сделалось даже грустно и захотелось к себе на прииск.

Они переночевали в Тагиле, а утром на другой день уехали домой. Александр Алексеич подарил Кирюшке книжку с картинками, бумаги и карандаш. Кирюшка всю дорогу держал в руках эти сокровища, точно они могли улететь от него.

Эта первая поездка произвела на мальчика глубокое впечатление. Как же живут люди в городах, как Екатеринбург? Было страшно даже подумать... Мохов говорил, что в городе так хорошо, как в раю. Дома все каменные, и все богатые. Он все вспоминал городские калачи, и как ел пельмени в обжорном ряду.

— Погоди, вот выучишься грамоте, Кирюшка, тогда все узнаешь, — говорил Миныч. — И какие города на свете есть, и как живут добрые люди. В книгах, брат, все написано.

Кирюшка решил, что прочитает все книги, как Федор Николаич, и все узнает.

На святках приехали в гости Александр Алексеич и Сергей Александрыч. Было очень весело. Федор Николаич угощал всех водкой, а Мохов прибавил еще на свои. Вечером Сергей Александрыч плясал в присядку с Спиридоновной, а Мохов играл на балалайке. Даже разошелся Миныч и тоже пустился в пляс. Потом поехали в двух кошовках в Висим. Кирюшка выпросился, чтобы и его взяли. Ему хотелось побывать дома, чтобы показать свои обновы и, главное, рассказать о своей поездке в Тагил.

Дома все было по-старому, и Кирюшке показалось еще беднее, чем раньше. Он теперь только заметил вопиющую домашнюю нужду. И праздника нечем было справить по-настоящему. Когда нет денег, так все будни.

Дедушка Елизар ходил хмурый и мало разговаривал. Мать была такая бледная.

— Плохо мы живем, — объясняла она Кирюшке, как большому. — К празднику-то купили пять фунтов свинины, — вот и все. Как уж только дотянем до весны. Ефим вон все болен.

Висим теперь показался Кирюшке таким маленьким. Какой это завод, — просто деревня. Раньше он не замечал, что в Висиме с каждого места виден лес. Вышел за огороды, и сейчас тебе лес. В Тагиле этого не было. Теперь все Кирюшка мерял про себя этим Тагилом.

Обновы Кирюшки совсем не произвели того впечатления, на которое он рассчитывал. Бабы разобрали, правда, все по ниточке и обругали Мохова, который, по их расчетам, прикарманил не на один полуштоф, а по крайней мере на два. Мужики отнеслись совершенно равнодушно, а только один дедушка Елизар заметил:

— Баловство это... Глаз нет у господских денег, вот и швыряют их. И так бы походил.

XII

Наступила, наконец, весна. Дедушка Елизар выехал на промыслы с каким-то страхом. Что-то будет... Дня три устраивали новую землянку под самой Момынихой, а потом уже приступили к настоящей работе. Дарья все еще не могла поправиться, и едва держалась от слабости на ногах; у Ефима продолжали болеть ноги, и он не мог работать в забое, а вместо Кирюшки отвозил только пески на таратайке к Мартьяну. Теперь, возить пески было значительно дальше, чем раньше. Первая же промывка дала столько платины, сколько раньше добывали в неделю. Дедушка дрожащими от волнения руками собрал ее в кружку и перекрестился. Да, это было настоящее богатство... У старика кружилась голова, и слезы сжимали горло. Парфен и зять Фрол видели эту богатую платину, но молчали, потому что молчал дедушка Елизар. Зато шептались и ахали бабы, так что старик даже прикрикнул на них:

— Вы-то чему обрадовались, козы брынские?

Чем лучше шла платина, тем дедушка Елизар делался мрачнее. Особенно он не любил, когда приходил кто-нибудь из старателей на делянку. Чаще других завертывал рыжий Архип Белохвост. Придет, рассядется и балагурит с бабами.

— Шел бы ты, Архип, к себе на делянку, — ворчал дедушка Елизар. — Куда дело лучше будет... Работа-то не ждет.

— Работа — не медведь, в лес не уйдет. Больно мне охота на твою богатую платину поглядеть...

— Отойди, грех.

В субботу дедушка Елизар пришел сдавать платину в контору позже всех, когда другие старатели разошлись и разъехались. Оставалось всего человек пять. Когда Мохов распечатал железную кружку, то так и остался с раскрытым ртом.

— Да ты сбесился, старик? — обругался Мохов. — Тут рублей на сорок будет... Это в три-то дня!.. Ну, и колдун же ты.

Федор Николаич, напротив, был рад и с удовольствием отсчитал дедушке Елизару тридцать восемь рублей с копейками. Подошла Евпраксия Никандровна и поздравила старика с богатой платиной.

— Ох, не надо бы такие-то слова говорить, сударыня, — точно испугался дедушка Елизар. — Так, немножко поманило для первоначалу. Куда нам богатую платину... С твоей легкой руки оправдали немножко первую неделю.

— Не заговаривай зубов, колдун, — ворчал Мохов. — Нашептали тогда с Емелькой, — вот платина и объявилась. Этак-то и всякий найдет, ежели с колдовством...

Молва о найденной Ковальчуками богатой платине точно забежала вперед. Когда дедушка Елизар приехал вечером домой, все старатели уже знали эту новость. Рыжий Белохвост приходил уже два раза узнать от самого старика, сколько он получил из конторы денег. Пока Ковальчуки ехали с прииска домой, полученная Елизаром сумма выросла в сто двадцать рублей. Об этом говорили главным образом в кабаке, где Белохвост с горя выпил целый полуштоф водки.

— Ей богу, я хотел взять эту делянку! — клялся он. — Вот, думаю, ширф[1] ударю после Троицы... Вот сейчас с места не сойти. А старик и пронюхал... Прямо, мою платину будет загребать.

Совсем пьяный Белохвост заходил к Ковальчукам в третий раз поздно вечером, но баушка Парасковья его прогнала без всякой церемонии.

— Что ты шляешься-то, полунощник? Старик спит после бани. Ступай-ка домой, жена тебя вот как ждет.

— А ты не гордись, старая, — ворчал Белохвост. — Не успели еще разбогатеть на моей платине, а уж в три шеи гонишь. Погоди еще, придешь и в ножки Белохвосту поклонишься...

---

[1] Ширф, или шурф — яма. «Ударить шурф» — делать разведочные расколки.

— Ступай, ступай!..

Утром в воскресенье, как всегда, дедушка Елизар отправился в церковь. Все теперь смотрели на него и перешептывались. Нелепая болтовня Белохвоста произвела свое действие. Ловко Ковальчуки подцепили чужую платину... Лучше не надо. Старик-то вон как молится и свечку в двугривенный купил.

— Это он за Белохвоста свечу-то ставит, — шептались бабы.

На базаре дедушку Елизара обступила уже целая толпа. Старик, наконец, рассердился.

— Триста рублей в три дня заробил! — кричали мальчишки.

От назойливого любопытства толпы дедушка Елизар едва спасся в лавке Макара Яковлича, разогнавшего толпу.

— Что же, я могу и подождать, — заявил Макар Яковлич, когда старик выложил ему сразу весь долг. — Всего-то восемнадцать рублей. Не велик счет...

— Нет, уж получи, — настаивал дедушка Елизар. — Вперед ничего неизвестно. Спасибо, вот зимой выручал. Напредки не оставь...

Кроме самых необходимых харчей, старик на базаре ничего не купил, оставив часть денег про черный день. Может-быть, на следующую неделю и никакой платины не будет, — и так случается. На такую скупость баушка Парасковья сильно ворчала, но старик уперся и ничего не дал.

В следующую неделю Ковальчуки заработали около ста рублей. Таких денег семья еще не видала. Дедушка Елизар никак не мог рассчитать, что ему делать с деньгами, — слишком уж много всякой нужды. И то, и другое, и третье, — всего не купишь.

Надо бы вот и крышу на избе поправить, и из одежи купить кое-что, а главное — купить вторую лошадь. С последним опять беда. Денег на лошадь хватало, так некому ездить. Дарья совсем слегла, значит, оставшиеся две бабы могли работать только у одного вашгерда. Потом Ефим обезножил совсем. Когда больше всего нужны были рабочие руки, их и недоставало.

— Возьми Кирюшку, — советовала баушка. — Будет ему лодырничать в конторе-то.

Дедушка Елизар и сам подумывал об этом, но зачем парня трогать с места. Что еще впереди — неизвестно, а он сыт, одет да еще грамоте учится. Потом неловко было обижать «солдатку», которая всегда была такая добрая. Как-нибудь своими силами надо обернуться. Между про-

чим, еще с весны старик захватил рядом две делянки, одну на старшего сына Парфена, а другую — на зятя Фрола. Когда пошла богатая платина, все старатели кинулись брать делянки под Момынихой, и каждый старался захватить местечко поближе к Ковальчукам. Дедушка Елизар спохватился, что напрасно тогда не взял делянок на Ефима и Кирюшку, — хотя и не настоящие мужики, а все равно работают на приисReferences же. Он пошел к Федору Николаичу хлопотать.

— У тебя, ведь, три делянки? — спрашивал Федор Николаич. — Платина идет отлично? Ну, и будь доволен... Надо и другим попользоваться...

— Оно бы того, барин, как-то аккуратнее... — мялся старик. — Оно, конешно, и другим надо, а платину-то все-таки я обыскал. Другие-то уж на готовое лезут...

— Не могу, старик! — уперся Федор Николаич и даже рассердился. — Вот вы всегда так: то нет ничего, а то все мало...

Дедушка Елизар ушел из конторы ни с чем. Он обозлился на упрямство смотрителя. И что ему стало жаль других? Небось, их, Ковальчуков, никто не жалел. Одним словом, ничего не поймешь, что и к чему.

Делянки были расхватаны под Момынихой живо, и самая плохая досталась Белохвосту. Он как-то умел везде опаздывать, и теперь обвинял во всем Ковальчуков.

— Раньше от Канусика терпел, а теперь Ковальчуки донимают, — уверял всех Белохвост и сам начинал верить собственным словам, как все увлекающиеся люди. — Не пойдет вам впрок моя платина...

В течение первого месяца Ковальчуки заработали около трехсот рублей, почти целое состояние. Дедушка Елизар попрежнему стерег каждый грош и никому не давал воли. Особенно негодовали на него бабы. Баушка Парасковья пробовала стороной замолвить словечко в пользу дочерей и снохи, но из этого ничего не выходило.

— И ни-ни! И думать пусть позабудут, — сердился дедушка Елизар, как никогда. — Я обыскал платину, — значит, все мое. Бабы подождут... Вот надо лошадь покупать, одежонку, — мало ли чего наберется.

Все три делянки соединены были в одну, и работа велась сообща, как было и раньше. Всем заведывал дедушка, и никто из мужиков не смел ему перечить. Уж дедушка знает, что делать, и сохранит каждую копеечку. Всех мучил вопрос о второй лошади, — надо ее покупать, а купить, — надо чужого человека в дом брать. Все работали одни, своей семьей, а тут вдруг нанимать.

— Подождем, — решил дедушка Елизар. — Надо за лошадь-то двадцать рубликов отвалить, да таратайку, да сбруишку, да разную приисковую снасть. Глядишь, на все пятьдесят целковых не обернешься. Нет, надо погодить... Лошадь не уйдет. Тоже всякие и лошади бывают: купи другую, и сам не рад будешь.

XIII

В конторе, конечно, заработки Ковальчуков были известны с точностью. Кирюшка уже разбирал не только печатное, но и по писанному, и сам мог по приисковым книгам проверить, сколько получил дедушка Елизар в какую неделю. Об этом иногда Кирюшку спрашивала мать, едва бродившая около своей землянки. Работать она не могла и страшно кашляла.

— Все нам завидуют, — жаловалась она сыну. — А мы от старика не видали еще ничего. На гривенник никому ничего не купил. Вцепился в деньги как коршун и всех нас заморил на работе. Жадный-прежадный стал...

Раз Дарья долго смотрела на Кирюшку, потом обняла его высохшими руками и проговорила:

— К осени я помру, Кирюшка.

Кирюшка молчал.

— Да, помру, — спокойно проговорила Дарья. — Ты останешься большаком в семье... да... Отец может женится, так ты, Кирюшка, не давай в обиду мачехе брата. Маленький он совсем останется...

Дарья заплакала и долго гладила Кирюшку по голове.

— Я скажу «солдатке», она тебя вылечит, — проговорил Кирюшка, не зная, чем утешить мать. — У ней всякие лекарства есть.

— От смерти не вылечишь... Божья воля.

Кирюшка был уверен, что от каждой болезни у «солдатки» есть свое лекарство. Он сам видел, как «солдатка» покупала лекарства в Тагиле, — и в бутылочках, и в бумажках, и в коробочках.

Когда Кирюшка рассказал Евпраксии Никандровне про мать, она сама отправилась проведать ее и только покачала головой. У Дарьи, по всем признакам, была чахотка.

— Тебе надо ехать домой, — советовала «солдатка». — В землянке сыро, как в погребе.

— И то сыро... Всю ночь кашляю. А только старик не пустит.

Дедушка Елизар, действительно, наотрез отказался отпустить Дарью домой. А кто же будет варево варить?

— Умрет она здесь, — говорила Евпраксия Никандровна.

— Божья воля. Все помрем...

— Как тебе не жаль, старик? Ведь, сейчас и деньги у тебя есть, можете нанять какую-нибудь женщину...

— Какие деньги, сударыня. А Дарью не пущу...

«Солдатка» рассердилась на упрямого старика, который нисколько не жалел снохи. Раньше еще это было бы понятно, когда вся семья бедствовала, а теперь совсем другое.

Вообще, на промыслах нисколько не жалеют баб. Вот лошадь будут беречь, потому что за нее деньги плачены, а баба умерла, — возьмут другую.

— Я, кажется, возненавижу этого противного старика, — жаловалась «солдатка» мужу. — Раньше мне было его жаль, а теперь... Неужели и Кирюшка будет такой же бессердечный?

— Все зависит от необразования, — спокойно объяснял Федор Николаич. — Ничего не поделаешь, если люди не понимают собственной своей пользы. Ведь, простой расчет, чтобы все в семье были здоровы, а они заставляют женщин работать выше сил, как не сделают с лошадью. Все от необразования...

Кирюшка слушал эти разговоры и только удивлялся господской доброте. Всех-то им жаль. Мальчик в первый раз в жизни усомнился в правоте дедушки Елизара, каждому слову которого до сих пор привык верить беспрекословно. Ему было все больше и больше жаль матери, которая чахла у всех на глазах. Вот и богатую платину нашли, а она будет чахнуть.

Раз утром Кирюшку разбудила Спиридоновна.

— Ступай смотреть новокупку. Дедушка Елизар лошадь привел показывать. Охота похвастаться...

Действительно, перед конторой стоял дедушка Елизар и держал в поводу купленную только вчера гнедую лошадь, о какой старик мечтал лет пятнадцать. Кругом новокупки ходили в качестве специалистов Миныч и Мохов и разбирали ее по косточкам. Особенно усердствовал Мохов. Он совал несчастной лошади кулаком в бок, задирал хвост, дул в ноздри и в заключение пролез на четвереньках под брюхо.

— Ничего, правильная лошадь, — одобрял Миныч. — Крепенькая на ногах. Эта вывезет.

— Хороша-то хороша, а не совсем, — говорил Мохов. — Глаз у ней круглый, значит, с норовом, а потом копыта слабоваты...

Кирюшка еще не видал дедушку таким счастливым. Мальчик и сам обрадовался лошади, как празднику. Сколько о ней было разговоров в семье, и вот теперь она стоит живая и совсем-совсем такая, какой представлял себе ее Кирюшка.

— Ну-ка, садись, верхом, Кирюшка! — командовал дедушка. — Попробуй коня... Да смотри, грешным делом, не сверзись.

Кирюшка проехался верхом и пришел в окончательный восторг. Какое сравнение с Чалко, который тряс и не умел бегать! Собака Мохова, которую он называл Крымзой, тоже принимала самое живое участие в этой сцене, и с громким лаем скакала перед лошадью, напрасно стараясь ее остановить.

— Да, добрая лошадка, — повторял Миныч, набивая нос табаком. — Хоть в Москву на ней поезжай.

— Что же, старик, надо ее будет вспрыснуть, — говорил Мохов. — Дело-то крепче будет...

— Какие тут вспрыски... — замялся дедушка Елизар.

— Ну, ну, нечего жаться. Платину лопатой огребаешь, лошадь купил, а на полштоф жаль?

— Да где я ее возьму, эту самую водку тебе? И рань такая...

— Ничего, я сгоняю вот на новокупке в Захарову. Только давай деньги...

К удивлению Кирюшки, дедушка достал из-за пазухи кисет с деньгами и отсчитал Мохову целый двугривенный медяками. Мохов лихо вскочил на новокупку и поскакал по дороге в гору. Дедушка Елизар проводил его глазами до леса и все время улыбался счастливой улыбкой, точно он видел счастливый сон.

— А пока мы чайку попьем, дедушка, — предложил Миныч. — Да закажем на радостях Спиридоновне закуску. Она нам такую яичницу сварганит... Нельзя, закон требует порядку. А к тому времени и Мохов выворотится...

Спиридоновна даже не ворчала, как обыкновенно. Она тоже разделяла общую радость.

Мохов, действительно, скоро вернулся и привез бутылку водки. Яичница была готова.

Когда уселись за стол, и дедушка Елизар налил первую рюмку, в окне показалось лицо Емельки.

— Да не колдун ли! — ахнул Мохов. — Я только подумал о нем, а он тут-как-тут. Ну, и человек!..

Емелька был бледен и тяжело дышал. У него вообще, был больной вид.

— Ну, ну, иди, — приглашал дедушка Елизар. — Гость будешь.

— Где ты пропадал-то, Емелька? — спрашивал Мохов.

— А болен был... С месяц вылежал в балагане под Осиновой горой. Болесть ухватила...

— Как же ты там с голоду не помер?

— А меня дьячок Матвеич пропитывал.... Приходил по два раза в неделю и приносил разный харч. Разнемогался я с самой весны... Ну, думаю, расхожусь в лесу-то, а тут меня в горах-то и свалило. Ни рукой, ни ногой, лежу, как дерево.

Новокупка была вспрыснута. Поднесена была рюмочка даже Спиридоновне. Миныч начал уже мигать и блаженно улыбался. Нарушал праздничное настроение один Емелька, на которого и водка не действовала оживляющим образом.

— Ежели бы теперь другую бутылочку... — приговаривался Мохов.

— Нет, нет! — испугался дедушка Елизар, поднимаясь. — Будет... И то стравил вам целый двугривенный. Легко сказать...

Когда старик вышел показать Емельке свою новокупку, охотник осмотрел ее добросовестно и похвалил, а потом отвел дедушку Елизара в сторону и проговорил:

— У тебя, сказывают, богатая платина идет?

— Врут, все врут, — отпирался дедушка Елизар.

— Перестань врать. Знаю все... Так вот што... значит, одолжи мне двугривенный. Как-нибудь справлюсь, тогда отдам.

— Што ты, што ты!.. Да ты в уме ли?

Дедушка Елизар даже замахал руками, а потом рассердился...

— Тоже, нашли богача... Сейчас только стравил целый двугривенный, да тебе дай двугривенный.

— Да, ведь, место-то мы вместе с тобой обыскивали? Цельных две недели я на тебя работал...

— А за што я цельных-то две недели кормил тебя?

Охотник Емелька молча повернулся, плюнул и зашагал под гору разбитой походкой, точно его несло ветром.

Кирюшка слышал весь этот разговор, и ему сделалось вдруг грустно. Ведь дедушка мог дать двугривенный Емельке и не дал. Это его ску-

пость разбирает, как жаловалась мать. Кирюшке сделалось как-то особенно жаль больной матери. Вот и новая лошадь, и богатая платина, а кому от этого лучше? И Емельку дедушка тоже напрасно обидел. Происходило что-то нехорошее и несправедливое, и детское сердце Кирюшки больно сжалось.

XIV

На Авроринский переехал из Тагила белокурый Александр Алексеич, у которого книг было еще больше, чем у Федора Николаича. Господа жили между собой очень дружно, много читали и часто спорили. Александр Алексеич занимался с Кирюшкой арифметикой и охотно объяснял все, что тот спрашивал: далеко ли солнце? как делают часы? куда идет платина? отчего чорт боится петуха? где конец света? куда бежит вода? отчего болят зубы? Некоторые вопросы приискового маленького дикаря заставляли Александра Алексеевича смеяться, а он так смеялся, как только смеются очень добрые люди.

— Тебе хочется быть богатым, Кирюшка? — спрашивал Александр Алексеич, делая папиросы.

— А-то как же? Всякому охота...

— А вот мне так нисколько не хочется.

Кирюшка не верил. Висимские мужики, а особенно старатели — только и мечтали, что о богатстве. Кирюшке казалось, что барин над ним смеется, как над маленьким.

— Нет, я серьезно говорю, — объяснял Александр Алексеич. — Если ты будешь богатый, так не наденешь на себя три шубы или не съешь три обеда зараз?

— Нет.

— Значит, для чего же тебе богатство?

— Жить веселее... Бросил ты работу, завел гармонию, сапоги со скрипом, пару лошадей, — мало ли што.

— А потом все это тебе надоест.

Но всего веселее было, когда на Авроринский приезжал к воскресенью Сергей Александрыч. Он точно привозил с собой веселье, и все начинали улыбаться. По вечерам у конторы устраивался хоровод, и Сергей Александрыч угощал всех пряниками и орехами, без которых не выезжал из Тагила. По всему прииску неслись веселые хороводные песни, а Сергей Александрыч выходил на середину круга и отплясывал

русскую. Его все любили на прииске и называли «веселым барином».

— Уж Сергей Александрыч всякого уважит! У него что ни слово, то прибаутка...

К осени Сергей Александрыч переехал в Висим, — он служил в заводской конторе, и еще чаще стал бывать на Авроринском. Не любил его один Мохов, которого Сергей Александрыч так смешно передразнивал.

— Самый пустяшный человек, — говорил о нем Мохов. — Разе полагается барину плясать в хороводе? Я вот штегерь, а и то в жисть не пойду, потому, как это мне низко. Пусть мужики пляшут...

Под Момынихой дела шли бойко и лучше всех — у Ковальчуков. Платина точно лезла из земли сама. Работало артелей двенадцать. Посчастливилось и Белохвосту. У него тоже шла хорошая платина. Это его примирило с Ковальчуками. Беда была только в том, что сам Белохвост любил выпить и выезжал на работу только во вторник, потому что в понедельник опохмелялся. На тяжелой приисковой работе пили много вообще, потому что и работа тяжелая, да и работать часто приходилось мокрым до нитки или по колена в студеной ключевой воде.

— Ах, Архип, Архип, нехорошо! — усовещивал его дедушка Елизар, не выносивший пьяниц. — Пропьешь все и опять ни с чем останешься...

— Дедушка Елизар, дай обрадоваться! — бормотал Белохвост. — Раньше другие радовались, а теперь наш черед.

В июле Белохвост купил лошадь и новую шубу и приезжал на прииск, несмотря ни на какую жару, в шубе. Другие старатели, заработав двести-триста рублей, тоже дичали и начинали пьянствовать. Бабы накупили ситцев, кумачных платков и тоже сорили деньгами. Сказывалась непривычка иметь деньги в руках, как и вообще на всех промыслах.

— Баловство одно, — ворчал дедушка Елизар, державший всю семью в ежовых рукавицах. — Деньги-то тоже к рукам...

Старший сын Парфен был весь в отца, такой же строгий и крепкий мужик, а зять Фрол оказался слабее и раза два приходил от Белохвоста навеселе. Его жена Марья страшно боялась, как бы не узнал старик, и прятала мужа.

К осени у дедушки Елизара скопилось на руках рублей шестьсот, т. е. целое состояние. Да еще рассчитывал он до зимы заработать рублей двести. На такие деньги можно было в Висиме устроиться хорошо. Первым делом старик замышлял пристроить избу к старой, чтобы отделить зятя, а Парфен пусть поживет пока в задней. Потом надо попра-

вить службу, купить корову, вообще — поднять все мужицкое хозяйство. Семья была большая, — по сапогам купить, так и то разоришься. А тут еще Ефим подрастал, того и гляди, — женить придется, значит, опять рублей полтораста из кармана. У старика все было рассчитано из копеечки в копеечку. Как-то не шел в счет один Кирюшка, точно он был большой и выделился из семьи. Дедушка Елизар только морщился, когда думал после всего о младшей дочери Анисье. Замуж пора девушке, значит, опять деньги, только здесь уж деньги прямо выброшенные за окно, да еще работница из дому вон. Много было стариковских дум, а заработанные в лето деньги разлетятся, как птицы, только их пошевели.

В конце лета потерял свое место Мохов. Он напился пьяным у Белохвоста, приехал домой пьяный, ударил ни за что Спиридоновну и нагрубил Евпраксии Никандровне, когда та заступилась за кухарку.

— Я вам отказываю, Мохов, — спокойно заявил Федор Николаич.

— Т.-е. это как отказываете? — удивился Мохов.

— А так... Вы начинаете безобразничать. Так нельзя.

Когда Мохов проспался, он никак не мог поверить, что лишился места. Так это, просто барин хотел постращать. Но барин стоял на своем. Вежливо так говорит и даже жалеет, а с места гонит. Мохов, наконец, озлился и ушел сам.

— Слава богу, не пропадем! — повторял он. — Крымза, айда... Спасибо здешнему дому, — пойдем к другому.

Мохова больше всего занимал вопрос, кого возьмут штейгером вместо него: но и этот вопрос разрешился очень просто: за работами взялся присматривать Александр Алексеич и взял к себе в помощники Кирюшку. Для Мохова ничего не могло быть обиднее. Он был убежден, что без него на прииске не обойтись, а тут берут какого-то щенка. Пока Мохов устроился у Белохвоста, т.-е., ровно ничего не делал.

Охваченный жадностью, дедушка Елизар работал до самой поздней осени, когда уже начались заморозки. Почти все другие старатели разъехались, а он продолжал морить семью на тяжелой осенней работе. Впрочем, Дарью отправили раньше, потому что она окончательно слегла.

Раз перед заморозками приехал из Висима веселый барин Сергей Александрыч и долго о чем-то говорил с Евпраксией Никандровной. У Кирюшки ёкнуло сердце, когда она позвала его и сказала:

— Ты поедешь в Висим с Сергеем Александрычем. Твоя мать очень нездорова...

— А дедушка Елизар?

— Ну, ему все равно. Впрочем, я ему пошлю сказать...

Дорогой Сергей Александрыч как-то был особенно ласков с Кирюшкой и расспрашивал его о семье, о матери, об отце и об жизни вообще. Кирюшка, подъезжая к заводу, каким-то инстинктом понял беду и заплакал.

— Ты это о чем, Кирюшка?

— Да, ведь, умерла моя мать...

— Когда я уезжал, она была жива, только очень плохa.

Дарья, действительно умерла, не дождавшись Кирюшки, о котором особенно тосковала. Это она послала Настю к веселому барину, чтобы как-нибудь вызвать сына с прииска. Кирюшка ужасно плакал и никак не мог себе представить, что матери уже нет, и что он больше не увидит ее никогда. Мысль о смерти дорогого существа никак не укладывалась в его голове. Ему все казалось, что это только так, пока, а потом все будет по-старому.

Дедушка Елизар огорчил Кирюшку окончательно, когда начал ворчать, что Дарья и умерла-то не во-время, когда еще работу не успели кончить на прииске, и что денег столько нужно истратить на похороны, и что двух сирот оставила. А тут еще, того гляди, Парфен захочет жениться на второй жене — опять расход, да еще какая попадет мачеха на детей. Одним словом, выступила наружу безжалостная правда жизни бедных людей, у которых связано каждое горе с целым рядом других неудач и огорчений, — только дедушка забывал, что теперь он уже не был таким бедняком, что отлично понимал Кирюшка и обижался за мать.

Парфен жалел жену вполне искренно, но молчал. Только раз он проговорил, когда шел с Кирюшкой с кладбища:

— Эх, Кирюха, Кирюха, не так думали мы с матерью-то прожить... Ничего не поделаешь: на все воля божья.

Жалела Дарью еще маленькая Настя, но ее детского горя никто не замечал.

XV

Вторая зима, проведенная Кирюшкой на Авроринском, навсегда осталась у него в памяти, как хороший сон молодой. Он уже бойко читал и начинал порядочно писать. Александр Алексеич занимался с ним каж-

дый день, и Кирюшка делал быстрые успехи. Сейчас дела на прииске было немного, как всегда зимой. Кирюшка рано утром обходил работы вместе с Александром Алексеичем и записывал в приисковые книги все, что́ было нужно. Он быстро освоился с своей новой должностью и мог вести дело вполне самостоятельно, несмотря на свои тринадцать лет.

— Да он лучше Мохова может все делать, — удивлялась Евпраксия Никандровна смышленности Кирюшки. — Вообще, эти заводские очень способный народ. Не сравнишь с деревенскими детьми...

Особенно хорошо было по вечерам, когда все собирались в конторе около топившейся печи. Огонь нарочно не зажигали подольше и «сумерничали», как говорят на заводах. Кто-нибудь что-нибудь рассказывал, и Кирюшка узнал многое такое, о существовании чего и не подозревал. Александр Алексеич в его глазах был еще ученее, чем Федор Николаич, потому что у него был микроскоп, самая удивительная штука, какую только Кирюшка видал. Дома, в Висиме его поднимали на смех, когда он рассказывал, что под микроскопом мышиная нога кажется величиной с собачью, а песчинки — с настоящий камень, каким Тимка чуть не вышиб ему глаза.

— Перестань хвастать, — оговаривал Кирюшку дедушка Елизар. — Статное ли это дело?.. Так, баловство.

Еще больше удивлялись, когда Кирюшка рассказывал о платине, что она главным образом добывается только на Урале, а потом — в Америке, на острове Борнео и еще кое-где, попутно с золотом; что платина тяжелее золота (удельный вес 17,19), что она плавится в полтора раза труднее золота (золото при 1000°, а платина при 1500°), что из нее приготовляют кубы для добывания кислот, лабораторные тигли и разные штуки для физики и химии. Старатели только качали головами, слушая Кирюшку, а когда он стал объяснять, что земля круглая, — не поверили. Мохов нарочно ходил в заводскую контору спросить у Сергея Александрыча относительно земли и все-таки не поверил.

— Известно, господа сговорились между собой и морочат нас, дураков. На что Миныч, и тот господскую руку туда же держит. Круглая земля, а как же я столько места изъездил и не замечал? Да еще вертится... Грешно это и говорить-то и больше ничего.

Относительно верчения земли Кирюшка и сам немного сомневался и особенно не настаивал на этом пункте.

Дедушка Елизар усиленно хлопотал около домашности и был счастлив. Парфен и зять Фрол возили из лесу бревна для будущей пристрой-

ки, и новая лошадь пригодилась как нельзя лучше. Зиму еще семья должна была перебиться по-старому, а ранней весной должна была начаться стройка. Поправлены были сарай и баня, куплены новые пошевни (сани с лубком), конская сбруя, разная одежа, — словом, семья Ковальчуков обзаводилась по-настоящему, как и следует быть исправной крестьянской семье.

Дедушка Елизар пользовался побывками Кирюшки, чтобы записать расходы, старику начала изменять память.

— Ты у нас грамотей, Кирюшка, ну, значит, и пиши.

Кирюшка с своей стороны начал замечать, что дома, в Висиме, он как-будто немного чужой и многого не понимает, а на Авроринском — точно у себя в семье. Его так и тянуло на прииск. Не нравились ему висимские разговоры, — говорили больше о деньгах, как повыгоднее что купить, где подешевле найти и т. д. Кирюшку тянуло в Висим только одно — маленький братишка Илья. Ему было уже два года, и он начинал ходить довольно бойко. Кирюшка хорошо помнил наказ умиравшей матери и ревниво следил за братом. Ребенок оставался на полном попечении приемыша Насти. У баб своего дела было по горло, а тут еще у Марьи родился свой ребенок. Сиротка Илья рос как-то так, сам по себе. Его счастье, что Настя была добрая и ухаживала за ним как настоящая мать. Кирюшка это ценил и потихоньку привозил с прииска разных гостинцев, какие самому случалось получать. Настя всегда краснела от радости и конфузилась.

— Ты только смотри за Илюшкой в оба, — наказывал Кирюшка тоном большого человека. — Покойная мать вот как просила, чтобы не оставлять. Известно, сирота...

Настя обижалась на такие советы.

— Да, ведь, он махонький, как же его оставить? — удивлялась она.

Кирюшка любил поговорить с Настей о матери. Другие как-то не вспоминали Дарью, точно ее и на свете не бывало. Отец угрюмо молчал, и Кирюшка не смел заговаривать с ним сам. Зато с Настей он отводил всю душу. Дети, наученные сиротством, говорили теперь как большие.

— Думаешь, женится скоро отец? — спрашивал Кирюшка: — мысль о мачехе беспокоила его больше и больше с каждым днем.

— А то как же? Беспременно женится... Раньше-то Дарья весь дом поворачивала, все она и везде поспевала, а теперь-то и некому ее заступить. Тетка Марья вон с ног в одну осень сбилась, а тут еще

свой ребенок; баушка Парасковья стара стала, — походит, и спина у ей сейчас отнимется; Анисья, того гляди, замуж выйдет. Кто же дом поведет без бабы?

Кирюшка сам понимал, что без бабы нельзя, и еще больше жалел мать.

Когда тебя привели к нам, — рассказывал он, — мать-то вот как испугалась... Беднота была, каждая корочка на счету, не то, что теперь. Ну, а потом мать-то тебя и пожалела. Куда деться-то круглой сироте? Мать-то добрая была, добрее всех...

Настя слушала этот рассказ, повторявшийся с разными вариациями, со слезами на глазах. Она каждый день молилась за упокой души Дарьи и называла ее про себя матерью. В ее глазах Кирюшка был родным, и это родство делалось все ближе, благодаря маленькому Илюшке.

Когда приезжал Кирюшка с прииска, Настя передавала ему о всех успехах, которые делал маленький Илья.

— Он уже все понимает, — трогательно уверяла Настя. — И знает, когда ты приедешь с прииска.

— Как же он может знать? — сомневался Кирюшка.

— А вот знает. Как начнет поглядывать в окошко, как полезет к дверям, — я знаю, что ты едешь. Он умный, Илюшка-то...

Об этих заботах Кирюшки узнала Евпраксия Никандровна и ужасно была рада. Ведь, доброе сердце — самое главное в каждом человеке. Прямо она ничего не говорила Кирюшке, а расспрашивала его о семье к слову, как будто невзначай. Кирюшка с детской откровенностью рассказывал все и строил разные планы.

Отец женится, ну, пойдут у него другие дети, — рассуждал он тоном большого человека, который особенно нравился «солдатке». — Уж тогда Илюшка будет совсем лишний. У мачехи-то всего натерпится. Тоже вот и Насте плохо придется.

— Что же ты думаешь делать?

— А вот еще подрасту малость, тогда...

— Что́ тогда?

— Ну, значит, возьму Илюшку к себе. И Настю тоже.

Незадолго до Рождества на Авроринский приехал дедушка Елизар. Евпраксия Никандровна встретила его довольно холодно.

— Тебе что-нибудь нужно, старик?

— Воопче, так, сударыня... Значит, насчет кирюшкиного жалованья.

— Ну, нет, это ты оставь. Кирюшкино жалованье так и пойдет Кирюшке... Я удивляюсь, что ты это говоришь. Слава богу, сейчас у тебя свои деньги есть.

— Какие деньги, сударыня, помилуйте. Вот сына после святок буду женить, — вот и деньги понадобились.

— Которого сына?

— А Парфена...

— Жени на свои, а кирюшкиных денег я не дам. Я думала гораздо лучше о тебе...

Действительно, в рождественский мясоед Парфен женился. Сноху дедушка Елизар выбрал в бедном доме и некрасивую, но работящую.

— С лица-то не воду пить, — объяснял старик.

XVI

Семья Ковальчуков начала быстро богатеть. Все нужды большого крестьянского дома были покрыты, и оставались еще свободные деньги. За второе лето под Момынихой Ковальчуки взяли больше тысячи. Мужики приоделись, бабы щеголяли в новых кумачных платках: но дедушка Елизар не позволял баловаться и крепко держал деньги при себе. Баушка Парасковья тоже сделалась точно скупее и постоянно попрекала Настю каждым куском хлеба.

— Ох, уж эта мне дармоедка, — ворчала старуха при каждом удобном случае. — Ведь, маленькая, а съест за большую.

Настя не раз потихоньку плакала, вспоминая добрую Дарью. При ней не то было. Новая сноха оказалась ленивой и глуповатой, и ей тоже доставалось. Хозяйство пришлось вести Марье, жене Фрола, и она постоянно говорила:

— Разве так при Дарье было? Не смотрели бы глазыньки... Все у нас через пень колода выходит. Тоже взяли сноху в дом, а она и ступить не умеет.

Нахлынувшее богатство принесло дедушке Елизару много новых забот, главной из которых являлось то, что нехватало рабочих рук. Старуха-жена оставалась дома, дочь Марья, занятая ребенком, работала вполовину, младшая дочь Анисья, того гляди, выйдет замуж, молодая сноха оказалась ленивой, маленькая Настя помогала баушке, — вообще, от баб немного было пользы. Мужики еще работали, хотя зять Фрол начал «зашибать», нет-нет и напьется. Вся надежда оставалась на

младшего, Ефима, которого старик собирается женить, — значит, в доме будет новая работница. И все-таки мало своей силы. Брать чужого человека дедушка Елизар долго не решался. Как-то оно не подходило.

Дело устроилось само собой. Бывший штейгер Мохов шлялся по промыслам без всякого дела и пристал к семье Ковальчуков. Лошадь он давно пропил и работал за поденщину, как простой рабочий.

— Что же, поработай с нами, — соглашался дедушка Елизар. — Только не поглянется тебе после легкого-то житья в конторе.

— Ну, ее, контору, — ворчал Мохов. — Ты и Кирюшку оттуда возьми, дедушка. Избалуется он там...

Мохов хоть этим путем хотел отомстить «солдатке», которую считал главной виновницей своего падения. Дедушка Елизар и сам много раз подумывал о том же, но все как-то не решался. Положим, Федор Николаич его обидел тогда относительно делянок, а «солдатка» не выдала кирюшкиного жалованья, а все-таки через них он и жить пошел. Легкая рука у «солдатки», — тогда на ее деньги он обыскал с Емелькой платину под Момынихой.

Когда Мохов не пил, он работал как вол, и притом был простоват. Дедушки Елизара он побаивался, хотя и ворчал про себя. С ним вместе пришла и собака Крымза, с которой он ни за что не хотел расстаться. Из-за этой собаки Мохов готов был драться, и сам дедушка Елизар, не выносивший собак, ничего не мог поделать.

— Может, Крымза поумнее другого человека, — уверял Мохов совершенно серьезно. — Она все понимает, ежели ей сказать хорошенько.

Приглядевшись за лето к Мохову, дедушка Елизар начал что-то соображать про себя. Старик, вообще, не любил делиться с кем-нибудь своими мыслями и раздумывал один. Кто же может что-нибудь понимать в его делах?

Заходил иногда под Момыниху охотник Емелька. Он ходил все таким же рваным и был рад, если Марья раздобрится и покормит чем-нибудь. Денег у старика Емелька больше не просил, но дедушка Елизар почему-то его не взлюбил. Что он зря шатается по промыслам? А то усядется с утра куда-нибудь на кучу перемывок и торчит целый день как сыч.

— Шел бы ты, Емельян, своей дорогой, — отговаривал его дедушка Елизар, — начиная сердиться. — Што зря-то торчать тут? Не видал, што ли, как добрые люди работают?

— А тебе места жаль? — огрызался Емелька. — Не бойся, ничего с собой не возьму. Обжаднел ты совсем, Елизар, вот я и гляжу на тебя.

— Тебе-то какая забота?

— А такая... Вместе обыскивали платину. Забыл, видно? Недаром говорится, что с богатым мужиком, как с чортом, — не сговоришь.

— Ну, ну, будет тебе.

— Обрадовался платине — не унимался Емелька: — только взять ее не умеешь.

— У тебя не буду учиться. Уходи, говорят.

— И уйду.

Емелька как-то странно смеялся и уходил. Дедушка Елизар каждый раз чувствовал себя не по себе при этом Емельке, и ему делалось немного совестно. Действительно, вместе обыскивали платину. Ну, так что же из этого? Емелька тут при чем?

Под Момынихой платина шла хорошо, и все старатели зарабатывали порядочные деньги. Дедушка Елизар с завистью смотрел на них, когда они в субботу приходили в контору, точно они сдавали его собственную платину. А все Федор Николаич виноват, — заартачился, точно на пень наехал. Дедушка Елизар не мог этого забыть и несколько раз говорил самому Федору Николаичу:

— Обидел ты меня тогда, Федор Николаич.

— Перестань грешить, старик, — отвечал Федор Николаич. — Чего тебе еще нужно? Слава богу, зарабатываешь хорошо...

— Вот сына младшего надо женить... Того гляди, дочь придется выдавать замуж. Все деньги...

— Ничего, хватит. Очень уж ты жаден стал... Надо и другим заработать.

Евпраксия Никандровна не разговаривала больше с дедушкой Елизаром, потому что не любила жадных людей. Она боялась только одного, что старик рассердится и возьмет Кирюшку. А мальчик продолжал учиться и за зиму успел много сделать. Вообще, такой способный и толковый мальчик.

Осенью, когда кончились работы, дедушка Елизар высватал невесту Ефиму. На этот раз он породнился с богатым домом. Дочь Марья и жена Парфена вперед ворчали на старика:

— Вот ужо покажет тебе богатая-то сноха.

Баушка Прасковья тоже была недовольна, хотя и молчала. Богатые-то привыкли жить по-богатому, а они все живут попрежнему.

Только и всего, что долгов нет, лошадь купили, избу пристроили да одежу кое-какую завели. Где же тут за богатыми тянуться...

А дедушка Елизар все считал и не мог придумать, как бы обернуться со свадьбой подешевле. У денег-то, ведь, нет глаз. Старику делалось даже страшно, когда, прикинув в уме, он насчитывал свадебных расходов рублей двести. Такую сумму не вдруг и выговоришь. Даже по ночам ему грезились эти свадебные расходы. А ничего не поделаешь. Нельзя от других отставать. Прежде в Висиме жили куда проще, а нынче богатеют от платины и всякие выдумки выдумывают.

Наконец, старик придумал, как вывернуться, и объявил первой баушке Парасковье:

— Ну, старуха, выдаю Анисью замуж. Будет ей в девках сидеть...

Баушка Парасковья так испугалась, что долго не могла выговорить ни одного слова. Ей почему-то сделалось жаль дочери. Она не смела даже спросить, какого жениха нашел старик дочери. А дедушка Елизар улыбался и объяснил:

— Зятя в дом возьмем, — вот и работник будет. Да и Анисья с нами останется... Так я говорю? Хе-хе! А главное, Анисьину свадьбу сыграем вместе с Ефимовой. Уж за-одно тратиться... Два работника новых прибудут: и зять, и сноха. Вот какое дело я удумал...

— Да кто жених-то?

— А ты вот придумай его, жениха моего... Далеко не ищи.

Вся семья ахнула, когда оказалось, что этот жених Мохов. Бабы накинулись на старика, как осы. Больше всех бунтовала дочь Марья.

— Ни кола ни двора у твоего жениха. Ужо напьется пьяный, тебя же прибьет. Хорошего жениха высмотрел... Не нашел хуже во всем Висиме. Тоже удумал..

— Бабы, не шуршать! — кричал дедушка Елизар. — Што хочу, то и делаю. Не вашего ума дело....

Анисья, как полагается невесте, пряталась от всех и голосила на чем свет стоит. А тут еще другие бабы расстраивают:

— Это старик от хитрости придумал. Видимо, польстился на даровую работу нового зятя и выбрал голь перекатную. Да и свадьбы обе дешевле зараз сыграть. Не ему жить-то с таким женихом...

Вообще, в семье Ковальчуков шли сильные раздоры, и только молчали, по обыкновению, мужики. Зато жених, Мохов, был совершенно счастлив. Он всем рассказывал, что старик дает в приданое за дочерью триста рублей.

— Вот как заживем с Анисьей, — хвастался Мохов. — Старик-то думает, што я буду под Момынихой платину мыть. Как-бы не так... Будет, поработали в свою долю.

— Что же ты будешь делать, Мохов? — спрашивали любопытные.

— Я-то? А я удумал свою штучку... Старик-то вот как после благодарить будет.

— Поблагодарит он тебя черемуховой палкой, которая потолще.

Между прочим, Мохов отправился на Авроринский и заявил, что желает видеть самого Федора Николаича. Тот вышел.

— Ну, что, Мохов? Как поживаете?

— Ничего, слава богу, Федор Николаич, живем, нога за ногу не задеваем. Жениться хочу, Федор Николаич, так вот приехал вас на свадьбу звать. И Евпраксию Никандровну, и Александра Алексеича... Уж вы не обидьте меня, не откажите. Конешно, свадьба у нас мужицкая, а все-таки мы порядки можем понимать.

Федор Николаич пообещал приехать на свадьбу. Когда дедушка Елизар узнал об этом, то только ахнул. Вот как удружил будущий зятек...

— Ничего, красного вина купим для господ, — объяснял Мохов.

— Да, ведь, деньги нужны, малиновая голова! Где у тебя деньги-то?

— А для кого я старался-то? Ведь, все для тебя же хлопочу... Ах, какой ты непонятный!.. Другие-то пусть завидуют, как у нас смотритель будет пировать на свадьбе... Самовар вот только надо купить будет.

— Самовар?!

— А то как же? Без самовара никак невозможно... Мы уж, значит, должны на такую линию выходить, ежели с господами знаться.

На этом пункте дедушка Елизар уперся. Какой там самовар? — ни за что. Это расходам конца-краю не будет. Но Мохов вывернулся и тут. Он устроил так, что невеста Ефима в числе приданого должна была принести самовар.

— Ничего я не знаю, — говорил дедушка Елизар в отчаянии. — Разорите вы меня, выдумщики. Как мы этот самый самовар пить будем?

— Ничего, дедушка, — успокаивал Мохов. — Такая уж линия подошла. Вот еще как полюбишь чай пить.

Свадьба у Ковальчуков вышла совсем по-богатому, и набрались в гости все богатые мужики. Приехали и Федор Николаич с женой, и Александр Алексеич, и Сергей Александрыч. В избе было тесно и жарко

как в бане. Баушка Парасковья все угощала Евпраксию Никандровну, приговаривая:

— Кусай сахару-то, матушка, кусай больше. Недаром деньги плачены...

В самый разгар веселья произошло то, чего никто не ожидал. Непивший Парфен выпил для молодых, захмелел и начал буянить.

— Чему обрадовались-то? — кричал он на гостей. — На нашем горбу старик все ехал... да!.. А теперь с богачами стал знаться. Небойсь, мою свадьбу справлял, как нищего...

Жена напрасно уговаривала расходившегося Парфена. Он только больше разозлился и заговорил уж совсем несообразно:

— Знать ничего не хочу! Будет... Отделюсь от отца. У меня своя делянка есть... Проживем и без него. Пусть теперь с богатой снохой поживет да с зятем щеголем.

Дедушка Елизар сидел и молчал. Свадьба вышла хуже похорон: отделится Парфен, и другие захотят делиться. Останется он с новым зятем. Потом старик пробовал было унять буянившего Парфена, но тот взял жену и ушел.

— Прощай, родитель. Не поминай лихом... Первую жену заморил на твоей работе, а вторую уж не буду морить.

XVII

Кирюшка тоже был на свадьбе, но он чувствовал себя чужим на этом общем веселье. Он почти все время пробыл в задней избе, где собрались ребята. Илюшка уже ходил и кое-что говорил на своем детском языке. В течение лета Кирюшке не случалось быть дома, потому что в конторе много было работы, и его удивило, как выросла Настя.

— Ведь скоро ты и совсем большая будешь, — говорил Кирюшка.

— Нет, еще долго, — отвечала Настя. — Год да еще год, да еще год, да еще год, — ух! долго.

Настя не умела сказать: через пять лет. Дети говорили между собой как большие. Настя жалела, что тетку Анисью дедушка выдал замуж за Мохова, и Кирюшка тоже. Все равно, не будет проку. Кирюшка кстати рассказал, как Федор Николаич тогда прогнал Мохова со службы за пьянство и дерзости.

— Где жить-то будем теперь? — соображала Настя. — И раньше-то вот как теснились по зимам, а теперь и совсем будет негде повернуться.

Эта «теснота» разрешилась сама собой. На другой день после свадьбы, Парфен хоть и проспался, но не забыл вчерашнего. К нему неожиданно присоединился зять Фрол, главным образом — его жена Марья.

— Сбесился совсем наш старик, — жаловалась она. — Пусть теперь своих молодых морит на работе, а нам будет. Сколько угодно работай, а все равно толку никакого не будет.

Марья любила брата Парфена и теперь хотела следовать его примеру. Нечего больше ждать, и надо самим устраиваться.

— Ничего, как-нибудь устроимся, — успокаивал ее Парфен. — Проживем не хуже других.

Зять Фрол был смирный человек и один никогда не решился бы на такой важный шаг. Он привык слушаться во всем жены и теперь соглашался с ней.

— Делянки-то наши, — соображал Парфен. — Пусть отец остается с своей делянкой, а мы возьмем свои. Зиму-то как-нибудь перебьемся...

Кирюшка был свидетелем этих переговоров, и ему было жаль что семья делится. Как раньше-то дружно жили, а тут все в разные стороны разбредутся. Ему делалось страшно главным образом за Илюшку, который теперь уж совсем останется на руках у мачехи. Баушка Парасковья все-таки была родная и не дала бы внучка в обиду. Потом, что будет с Настей? А вдруг ежели дедушка Елизар оставит ее у себя? Мачеху Кирюшка не любил. Ленивая она и вся какая-то нескладная.

Пока гости пировали на другой день после свадьбы, Парфен отправился к охотнику Емельке. Он жил один в своей избе бобылем. Хозяйства у него не велось, кроме одной собаки, и изба начинала рушиться. Парфен оглядел все хозяйским глазом и решил, что зиму можно будет перебиться как-нибудь у него. Поправить немного крышу, да службы, да ворота, — только и всего. Изба холодными сенями делилась на две половины, — в передней поместился Парфен с семьей, а в задней — Фрол.

— Ничего, места всем хватит, — говорил сам Емелька. — Я сам поправлять собирался, да все как-то руки не доходили.

— Ну, вот тебе все и поправим, — говорил Парфен. — Ты зиму-то на задней половине у Фрола поживешь. У него всего один ребенок.

— Обо мне-то что говорить... Вот снег выпадет, — только меня и видели. Домой-то только к праздникам выхожу.

Дедушка Елизар никак не думал, что все дело повернется так круто. Он был уверен, что Парфен наболтал с пьяных глаз, а потом образумится. У старика опустились руки, когда к Парфену присоединилась Марья. Она была упрямая, вся в отца, и с ней не сговоришь. Из дому сразу уходили четыре даровых рабочих силы.

— Как же это так? — удивлялся старик. — Ведь для них же я старался, а они делиться.

Сам он не хотел вести переговоров с бунтовщиками, а послал для этого баушку Парасковью. Но из этого ровно ничего не вышло. Баушка Парасковья только плакала, а под конец даже согласилась с детьми, что отдельно лучше будет всем.

— Вот только как со стариком-то будем, — охала бедная старуха. — Крут он сердцем-то. Пожалуй, ничего в отдел не даст вам.

— И пусть не дает, — говорил Парфен. — Делянки-то, ведь, у нас остаются. Все наживем помаленьку...

— Не попустится старик делянкам-то. Хлопотать будет...

— И пусть хлопочет. Только добрых людей насмешит. Мы его ничего не берем, и своего не отдадим.

Старик, действительно, принялся хлопотать и первым делом отправился на Авроринский к Федору Николаичу. Начал он издалека, с жалобы на непокорных детей, но Федор Николаич с ним не согласился.

— Ты бы сам их должен был выделить, старик. Трудно в большой семье жить. Тебе же будет лучше...

— Лучше-то лучше... — мялся старик. Конешно, не маленькие. Пусть своим умом поживут. Это, конешно, тово... А вот делянки я им не отдам, Федор Николаич.

— Опять не выйдет, старик...

— Как не выйдет?

— Делянки записаны на Парфена и на Фрола. У тебя твоя и останется...

— Ведь, я обыскал платину-то?

— Нельзя же все делянки отдать тебе одному. Надо и другим на свою долю заработать. Ты теперь поправился, есть и деньжонки про черный день, — чего же тебе еще нужно?

Дедушка Елизар этим не удовлетворился и отправился хлопотать в Тагил к арендатору приисков. С ним поехал и Мохов, клявшийся всем, что «выворотит» делянки. Но из этой поездки ничего не вышло, и дедушка Елизар вернулся домой темнее тучи.

— Ничего я им не дам в отдел, — грозился старик. — Не хотят уважать отца, ну, и пусть казнятся.

Через неделю после свадьбы Парфен и Фрол переехали в избу Емельки, и начавшая богатеть семья Ковальчуков распалась. Впрочем, под конец дедушка Елизар как-будто смирился.

— Что же, значит, такая уж божья воля, — решил он. — Я им зла не желаю. Не умели жить с отцом, так пусть поживут своим умом. Захотели умнее отца быть...

Все-таки в отдел сыну и дочери старик ничего не дал.

— Когда помру, тогда пусть делятся как знают, — решил он.

Настя ушла с семьей Парфена. Когда дедушка Елизар спросил ее, куда она хочет, девочка сквозь слезы ответила:

— Я, дедушка, к Илюшке...

— Ну, вот умница, — похвалил старик. — Что хорошо, то хорошо. Тебе бог на сиротство счастье пошлет...

Кирюшка был чрезвычайно рад, что Настя переехала от дедушки к отцу. Участь маленького Илюшки этим обеспечивалась. Ему было жаль дедушки Елизара, которого он любил.

— Ничего, все обойдется, — успокаивала его «солдатка». — Мало ли в семьях ссорятся, а потом и помирятся.

Евпраксия Никандровна знала все семейные дела Кирюшки и принимала их к сердцу. Она тоже радовалась, что Настя попрежнему осталась при маленьком Илюшке. Трудно расти такому маленькому без матери. Глядя на Кирюшку, «солдатка» иногда говорила:

— Что-то из тебя будет, Кирюшка? Вырастешь ты большой, будешь зарабатывать деньги, научишься пить водку...

— Нет, я не буду водку пить, — отвечал Кирюшка.

В мальчике уже рано сказывался твердый отцовский характер, он не походил на других приисковых ребят, как Тимка Белохвост. У него и мысли были совсем не-детские. После свадьбы, например, он с огорчением рассказывал Евпраксии Никандровне, как страшно пили висимские мужики, как горланили песни и, вообще, безобразничали. Он уже отвык от своих и невольно сравнивал с тем, что делалось в конторе. Пили иногда и здесь, но не до-пьяна, а как пьют настоящие господа — за обедом и за закуской. Начнут громче говорить, примутся спорить, сделаются веселее, — и только. Федор Николаич пил всего одну рюмку перед обедом. Кирюшка давно это заметил, и его неприятно поразил мужицкий свадебный разгул.

Теперь приисковые книги Кирюшка вел почти один. Александр Алексеич только иногда его проверял, редко находил какую-нибудь арифметическую ошибку, что страшно конфузило Кирюшку каждый раз. По этим книгам Кирюшка видел, сколько кто зарабатывал на промыслах. Больше всего зарабатывали висимцы. Было уже несколько десятков настоящих богатых семей, «пошли жить от платины». Ближе Висима была деревня Захарова, но там как-то не богатели. Работали на приисках черновляне, т.-е. из Черноисточинского завода, утчане — из Висимо-Уткинского завода, тагильцы, но из них никто не богател. Висимцы были счастливее.

Зима досталась отделившимся Парфену и Фролу довольно тяжело; но их утешало то, что теперь они работают только на себя, Каждая копейка шла в свой дом. А у дедушки Елизара все не ладилось в дому. Молодая сноха и слышать не хотела о работе на прииске.

— С чего это взяли, что я буду в грязи топтаться? — заявила она прямо в глаза дедушке Елизару. — И брали бы сноху из бедной семьи.

Дедушка Елизар только кряхтел. Разве смели раньше снохи так разговаривать с ним? Ефим был какой-то вялый и не умел держать жену в руках. Но больше всего огорчал старика Мохов, с которым не было никакого сладу. Домашней работы Мохов не хотел знать, а напьется чаю, закурит цыгарку и уйдет куда-нибудь на базар. У него везде были знакомые, дружки да приятели. Правда, со стариком он никогда не ссорился, а всячески старался ему угодить.

— Погоди, старичок, вот как мы с тобой заживем, — уверял он дедушку Елизара. — Работой-то никого не удивишь. Да... Ты хошь из своей кожи десять раз вылези. Конешно, оно приятно, когда идет, примерно, богатая платина, а все-таки это не настоящее дело. Сегодня она идет, а завтра и след простыл.

— Что же, по-твоему, настоящее? — спрашивал дедушка Елизар.

Мохов долго ломался, прежде чем сказать свой секрет. Когда он сказал, что будет торговать на базаре разным крестьянским товаром, дедушка Елизар подумал, что Мохов, спятил с ума.

— Очень даже просто, — уверенно объяснял Мохов. — На пятьсот рублей куплю товару на наличные, а на пятьсот мне отпустят в долг. Только и всего... Другие торгуют же, и мы будем торговать. Посиживай себе в лавке. Ни этой приисковой грязи, ни дождем тебя не мочит, да еще все будут кланяться...

— Нет, ты сбесился! — уверял дедушка Елизар. — Тебя надо веревкой связать.

— Нет, серьезно, дедушка. Ты подсчитай-ка... Торговец со всего берет барыш, с жареного и вареного.

В течение зимы Мохов надоел дедушке Елизару своими наговорами. Возьмет еще счеты и начнет подсчитывать будущие барыши. Выходило так, что, действительно, выгоднее дела нет. Ото всякой мелочи прибыль, — где пятачок набежит, а где и целый гривенник. Только знай, получай деньги да клади в мошну. Мохов какими-то путями пронюхал, что у дедушки Елизара хранится около тысячи рублей и делался все настойчивее.

— Да, ведь, нас засмеют, когда мы на базар выедем? — говорил дедушка Елизар. — Будут говорить: вот новые торговые — старые нищие. Тоже совестно...

— А ты пока не выходи на базар. Я один буду орудовать. У меня разговор вот какой легкий... Сделай милость, за словом в карман не полезу. А вечером приду домой, — на! считай барыши. Так я говорю? Зимой-то, все равно, нечего делать.

Все только ахнули, когда дедушка Елизар вдруг расступился и отвалил Мохову целых триста рублей. То дрожал над каждой копейкой, а тут отвалил целый капитал. Дочь Марья не вытерпела и побежала к отцу.

— Ты это что же, батюшка, делаешь-то? Мы, ведь, зарабатывали деньги своим горбом, а ты их травишь Мохову...

— А вот и буду травить, — упрямо отвечал старик. — Никто мне не указ. Что хочу, то и делаю.

Это было целое событие, когда Мохов выстроил себе на базаре маленькую лавчонку и привез из Тагила первый раз разного крестьянского товара. Тут были и конская сбруя, и чекмени, и крупы, и шапки, и деготь, и сахар, и табак, — получай все, чего только душа хочет.

— Эй, поштенные! — говорил Мохов, раскланиваясь с обступившим новую лавку народом. — Берите товар поскорее: сегодня на деньги, — завтра в долг.

Дедушка Елизар не вышел на базар, а просидел весь день дома. Ему вдруг сделалось совестно, и он понял, какую глупость сделал, доверившись пустым словам Мохова.

XVIII

Наступило лето. У Кирюшки работы было по горло. Приходилось вставать рано, а ложиться поздно. Он не любил, когда нужно было итти под Момыниху, где работали свои. Особенно ему было больно смотреть на дедушку Елизара, который ходил точно в воду опущенный. Дело в том, что Мохов проторговался в каких-нибудь три месяца, — половину товара роздал в долг, а другую размотал. В долг самому ему в Тагиле товара не поверили, а денег дедушка больше не дал. Так вся торговля и кончилась.

— А все старый чорт виноват! — ругался Мохов. — Ну, дай еще рублей триста. Дело совсем хорошо пошло, а он уперся, как бык. Своей пользы человек не понимает, значит, ничего ты с ним не поделаешь...

И на прииск Мохов не выехал, а отправился в Тагил подыскивать себе какое-то место.

— Низко мне с вами в грязи валандаться, — объяснил он старику. — Я к этому не привык...

— А как же раньше-то у нас работал? — корил его дедушка Елизар.

— Мало ли што было раньше.

Жена Мохова, Анисья, оставалась у отца и работала как прежде. Всего на делянку приходилось четыре человека: сам старик, Ефим с женой да Анисья. Но платина шла хорошая, и жить было можно.

Рядом на делянках работали Парфен и Фрол. У них тоже дело шло хорошо, и за работой как-то все помирились. Дедушка Елизар отделил им одну лошадь, разную приисковую снасть и при случае помогал. Старик, вообще, как-то заметно опустился и сделался добрее, а дочери Марьи даже как-будто побаивался.

Справившись немного, Парфен первый начал нанимать поденщиков, а потом и Фрол тоже. Своей силы нехватало. Один дедушка Елизар крепился и не брал в свою артель никого чужого.

Молодая сноха любила Ефима и помирилась с приисковой работой.

Вообще, Ковальчуки пошли в гору, и Архип Белохвост с завистью говорил:

— Раньше одной лопатой загребали платину, а теперь гребут в три лопаты. Счастье этим Ковальчукам...

В средине лета произошло событие, которое изменило всю жизнь Кирюшки. Как-то приехал из Тагила Федор Николаич, ездивший сдавать платину, и долго говорил о чем-то с женой. Утром Евпраксия Никандровна за чаем сказала Кирюшке:

— Ну, Кирюшка, дело наше плохо... Аренда приисков кончилась, и они переходят опять к Демидову. Значит, будут здесь служить свои, демидовские служащие.

— А как же вы, Евпраксия Никандровна?

— Как мы, — пока ничего неизвестно. Придется устраиваться как-нибудь по-другому. Мы-то устроимся помаленьку, а вот как ты?

— Не знаю... — ответил Кирюшка. — К отцу пойду работать.

— Ты уж теперь большой и не пропадешь. Может-быть, захочешь устроиться при конторе? Можно будет похлопотать...

— Нет, я без вас не останусь.

— Как знаешь.

У Кирюшки блестели слезы на глазах, и Евпраксии Никандровне сделалось его жаль. Славный мальчик и учился хорошо, а теперь приходится все бросать. Подумала «солдатка» взять Кирюшку с собой, но он отказался.

— А как Илюшка-то без меня останется? — объяснил он. — Мать крепко наказывала, чтобы я его не оставлял.

Сначала Настя с Илюшкой оставалась в Висиме, а потом, когда была выстроена избушка под Момынихой, — ее перевезли на прииск. Теперь Насте приходилось нянчиться и с ребенком Марьи. Девочка-приемыш уже не ела даром чужого хлеба, а зарабатывала его своим детским трудом. Марья ее полюбила и заботилась о ней. А Марья что захочет, так поставит на своем. Уж такая уродилась.

Когда Кирюшка рассказал отцу, что аренда промыслов кончается, Парфен сначала, по обыкновению, помолчал и потом уже сказал:

— С нами будешь, значит, жить... Отвык, поди, от нашей работы?

— Нет, ничего.

Парфен очень жалел, главным образом, «солдатку», которая так ухаживала за Дарьей. Добрая эта «солдатка», хоть и курит цыгарки. Потом ему было жаль Кирюшки. Что он будет болтаться на грязной приисковой работе, — в конторе-то куда ему было лучше. В люди бы вышел современем. Теперь уж Кирюшка читал всякую книгу и по цифрам все мог понимать. Своих мыслей Парфен, по обыкновению, никому не передал. Что поделаешь, ежели так выходит все.

Конец лета пролетел незаметно. Из новостей на промыслах было только то, что неожиданно появился Мохов и привез молодой жене в подарок красный платок и ботинки.

— Где ты денег-то взял, малый? — удивился дедушка Елизар.

— А вы думали, что Мохов без вас с голоду подохнет? — хвастался Мохов, попыхивая цыгаркой. — Нет еще, подождите. Вот, как еще Мохов поживет. Все завидовать будут...

Откуда добыл Мохов денег, — так и осталось загадкой. А деньги у него были. Он ходил по промыслам и хвастался, показывая бумажник. Потом он так же неожиданно исчез, как появился. Даже с женой не простился хорошенько. Дедушка Елизар только качал головой. Выходило дело нечисто. Даром денег никто не даст, а работать Мохов не любил.

Наступила осень, и работы начали понемногу сокращаться. Ниже по течению реки Мартьяна черновляне нашли, как разнесся слух, хорошую платину, но оставили до весны. Ковальчуки опять заработали много, на зависть другим старателям. Впрочем, хорошая платина шла также у Шуругиных и кое-у-кого из висимцев. Парфен уже рассчитывал ставить себе где-нибудь новую избу, — это первое дело. Денег немного нехватало, и он рассчитывал у кого-нибудь занять. Но, к его удивлению, денег ему предложил старик.

— Какой же мужик без избы, — рассуждал старик. — Справишься, отдашь.

Оказалось, что дедушка Елизар дал денег и Марье. Вообще, семейная распря улеглась, и дело пошло на мир. Все вздохнули свободнее. Что же, и другие семьи делятся, как Шкарабуры. Дедушку Елизара главным образом уговорил висимский священник, к которому он ходил посоветоваться.

Когда работы закончились и контора закрылась, Федор Николаич с женой уехали в Тагил; Александр Алексеич — вместе с ними. Кирюшка провожал их со слезами. «Солдатка» подарила Кирюшке на прощанье несколько копеек.

— Приезжай к нам в гости, — приглашала она.

* * *

Много прошло лет. Из Кирюшки уже вырос большой человек, которого все называли Кириллой Парфенычем. Он женился на Насте и жил в своем собственном доме. Дела у Ковальчуков шли почти все время

хорошо, как и у всех висимцев. Когда открыли прииск Варламиху, оказалась такая платина, какой еще не видали до сих пор. Кроме того, цена на платину поднялась вдвое и втрое против прежней. Дедушка Елизар все еще был жив, но по старости лет не мог выходить из дому, и когда приходил внучек Кирилл, умолял его:

— Сосчитай ты мне, Кирилл, сколько это выйдет наших денег...

Старик немного тронулся и все жалел, что так дешево сдавал прежде платину, а теперь бы получил настоящие деньги.

Платина на Варламихе открыта была именно там, где показывал охотник Емелька. Он давно умер, в один год со своим другом, дьячком Матвеичем. Ковальчуки окончательно разбогатели уже на Варламихе. Да и весь Висим тоже поправился так, что не узнать. Везде — новые избы, крашеные крыши и разные постройки.

С дедушкой Елизаром остался жить один Ефим, а Мохов давно ушел вместе с женой. Он открыл в Захаровой кабак и жил припеваючи. Поговаривали, что он тихонько торгует краденой платиной, чем теперь в Висиме занимались очень многие. Тайные скупщики подняли цену платины до рубля.

Вскоре после свадьбы Кирилл отправился с молодой женой в гости к Александру Алексеичу, который служил сельским учителем за Кушвой. Федор Николаич служил в Перми, а Сергей Александрыч уехал в Сибирь. Кириллу очень хотелось повидать их всех, но налицо был один Александр Алексеич.

Он очень обрадовался, когда Кирилл приехал к нему, и долго расспрашивал его о висимских делах и висимских знакомых.

— Дедушка-то Елизар прав, — заметил Александр Алексеич. — Совсем даром вы отдавали платину. Она будет стоить дороже золота...

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор К. Рождественская

*

Подписано в печать 13/I 1947 г.
Печ. л. $12^1/_2$. Уч.-изд. л. 12,06.
НС 00705. Формат 70×87/16.
Тираж 25000 Зак. № 340.

*

5-я типография треста
«Полиграфкнига» Огиза при
Совете Министров СССР.
Свердловск, ул. Ленина, 47.



